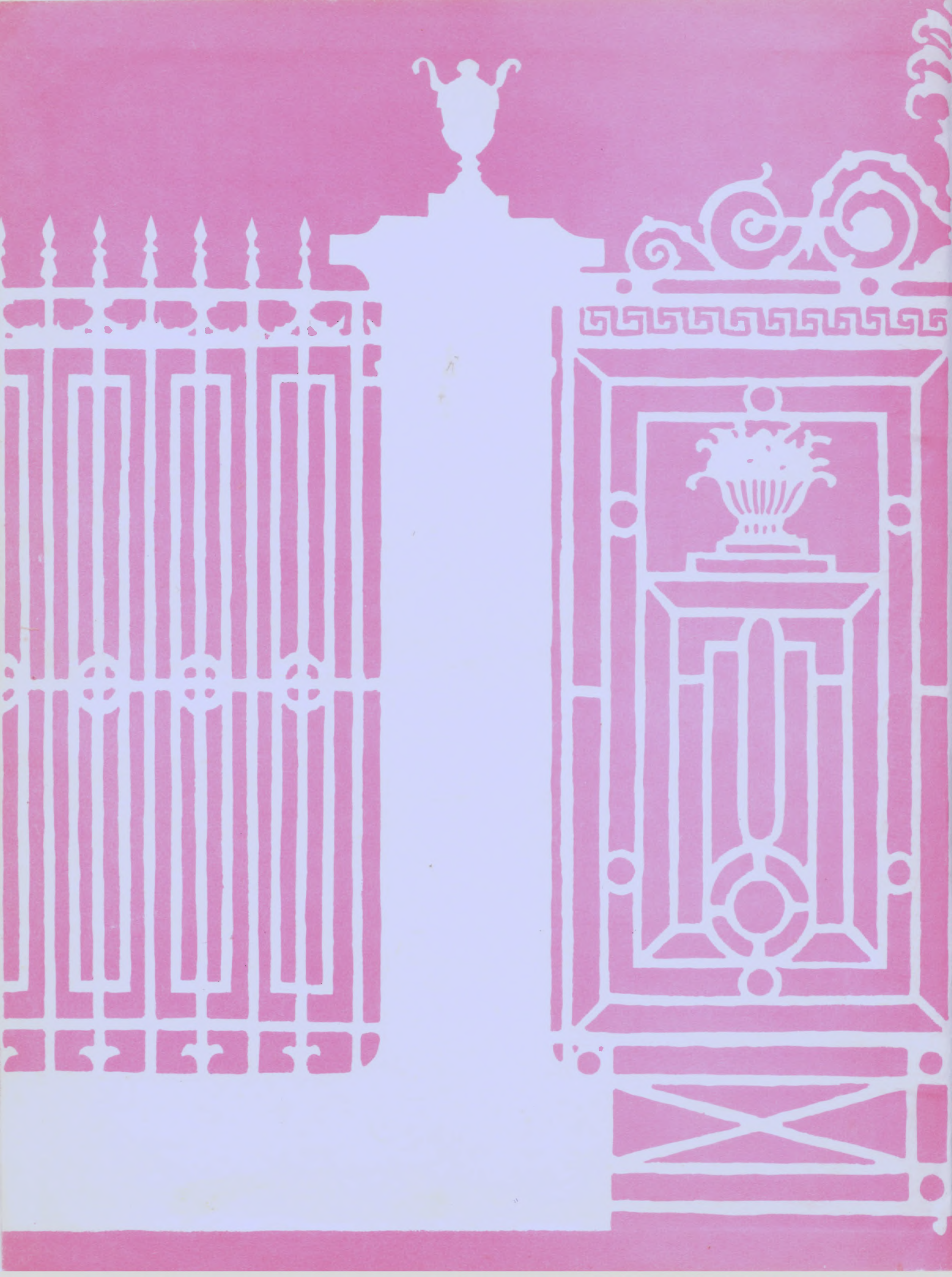


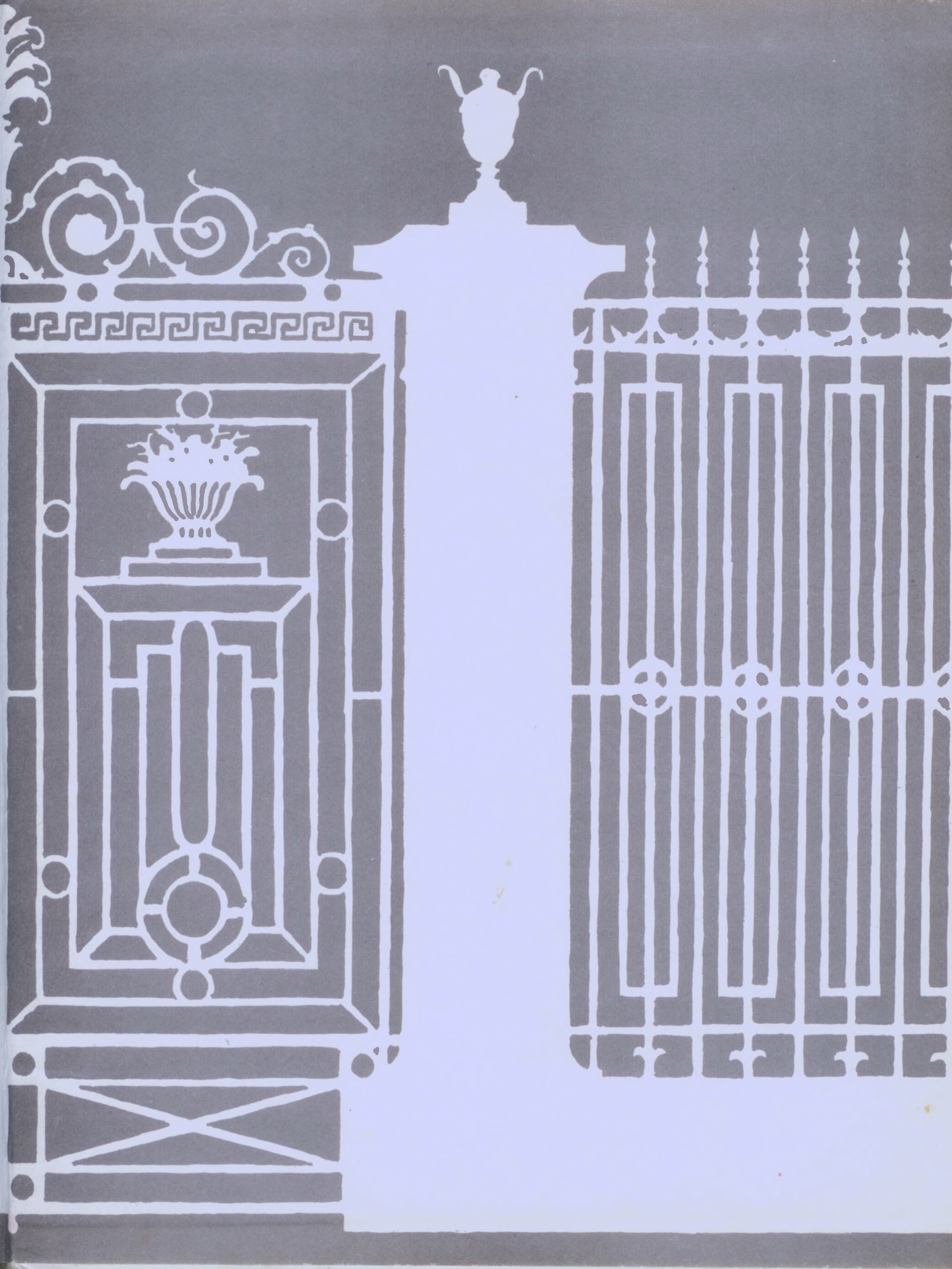
Ю Р И Й
Г Е Р М А Н

ВОТ КАК ЭТО БЫЛО



ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА"







Ю Р И Й
Г Е Р М А Н

ВОТ
КАК
ЭТО
БЫЛО

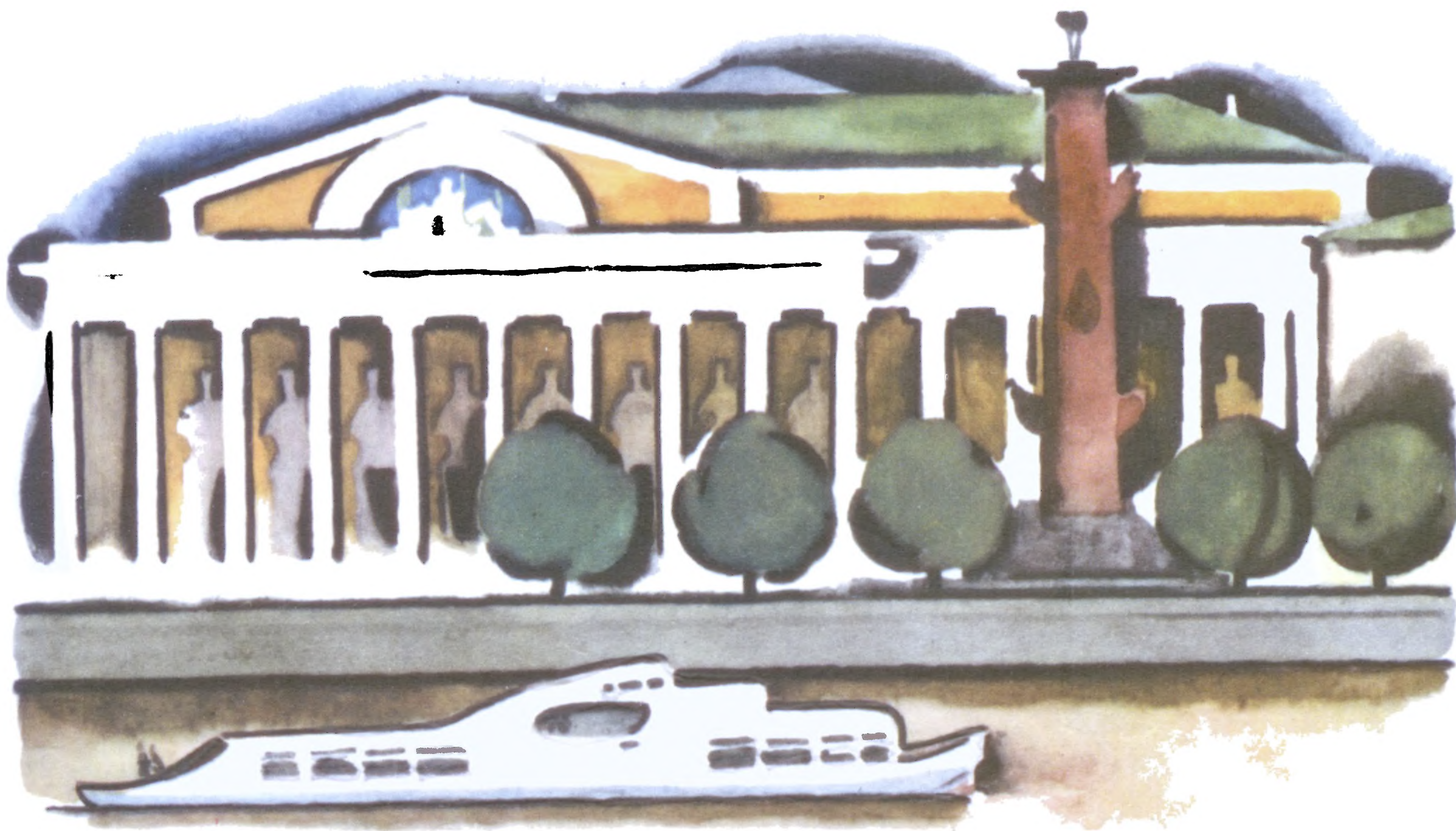
П О В Е С Т Ь



РИСУНКИ
Н. Ц Е Й Т Л И Н А

М О С К В А
"ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА" 1978





РОДИТЕЛЯМ И ВОСПИТАТЕЛЯМ

О ПОВЕСТИ «ВОТ КАК ЭТО БЫЛО» И ЕЕ АВТОРЕ — ЮРИИ ГЕРМАНЕ

Юрий Павлович Герман (1910—1967) хорошо известен взрослым читателям прежде всего как автор трилогии о докторе Владимире Устименко (романы «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек» и «Я отвечаю за всё»). Ещё в 1932 году Максим Горький горячо отозвался о романе Германа «Вступление» — одном из первых произведений совсем молодого тогда автора. Перу Германа принадлежат также романы «Наши знакомые», «Один год», «Россия молодая», сценарии фильмов «Семеро смелых», «Доктор

Калюжный», «Верьте мне, люди» и многие другие произведения. Недавно завершено издание шеститомного Собрания сочинений Юрия Германа.

Немало писал Юрий Павлович и для детей; назову хотя бы такие его книги, как «Рассказы о Дзержинском», «Секрет и Служба», «Дай лапу, друг». Детская повесть «Вот как это было» при жизни писателя не публиковалась, рукопись найдена в архиве Юрия Павловича его вдовой Татьяной Александровной и сыном Алексеем Юрьевичем. Повесть эта посвящена очень важному в жизни нашей страны периоду. Здесь рассказывается о Ленинграде предвоенного времени, о Великой Отечественной войне, о ленинградской блокаде, о том, как мы победили.

Найденная рукопись не датирована, но есть основания полагать, что писатель работал над ней в конце сороковых годов. Почему же она не была опубликована? Трудно сейчас ответить на этот вопрос с полной определённой. Скорее всего, взыскательный художник не считал повесть вполне завершённой, хотел, как это иногда бывает, дать рукописи «отлежаться», чтобы потом прочесть её «сторонними глазами» и, если нужно будет, что-то ещё доработать. Но позднее, захваченный новыми замыслами, поглощённый своей кипучей деятельностью в кинематографии, огромной работой над историческим романом «Россия молодая», а затем — над трилогией о Владимире Устименко, писатель не притрагивался к старой рукописи.

Во время Великой Отечественной войны Юрий Герман служил на Северном флоте. Эти годы нашли отражение в его книгах «Ву харру!» («Будь счастлив!»), «У студёного моря» и «Подполковник медицинской службы». После победы, после демобилизации, писатель вернулся в Ленинград, который был ещё полон свежих свидетельств блокады, её горя и её мужества. Там, на Северном флоте, воевали взрослые люди, здесь жестокую страду войны полной мерой испытали и дети. И вот писатель решил показать войну, блокаду глазами ребёнка, семилетнего мальчишки.

«Вот как это было» — произведение предельно непритязательное, в нём нет, кажется, ни единого слова, которое выходило бы за границы мировосприятия его маленького героя Мишки, от имени которого и ведётся повествование. Но дети того поколения во многом были взрослыми не по годам. И мальчишеская непосредственность органично сочетается в душе Мишки с сознательностью, с чувством ответственности гражданина города-героя.

Однако, при всей непритязательности, в кульминационных главах повести мы ощущаем подлинный драматизм, хоть и нигде не подчёркнутый. С редкостной художнической чуткостью написана, в частности, глава «У нас в больнице». Нельзя без волнения читать тот эпизод, в котором по молчанию раненого лётчика — по одному лишь молчанию! — читатель понимает, что после налёта гитлеровской авиации во всей большой палате в живых осталось только двое: лётчик и Мишка.

В нашей жизни, в нашем быту многое изменилось с той довоенной поры, которая описана в самом начале повести. Некоторые вещи, некоторые понятия, известные людям старшего поколения, незнакомы сейчас не только детям, но и их молодым родителям. В одном пионерском лагере вожатая читала ребятам повесть «Вот как это было». Всем очень понравилось, слушали затаив дыхание, старались ни словечка не проронить. Но, как выяснилось, никто — ни слушатели, ни сама читавшая — не знали, что такое «противогаз», что такое «сирена воздушной тревоги». А что касается «трамвайной колбасы», то один мальчик сказал: «Это колбаса, которую в трамвае ели».

Постараюсь объяснить эти понятия. «Сиреной воздушной тревоги» называется сигнальный гудок, громкий и продолжительный (радио передавало его по всему городу), предупреждающий о приближении вражеских самолётов. Чтобы налёт не застал население врасплох, до войны проводились учебные воздушные тревоги. Работали и специальные курсы противовоздушной обороны, на них учили тому, что надо делать, чтобы потери от бомбёжек были минимальны: как проводить маскировку, как оборудовать бомбоубежища, гасить зажигательные бомбы и т. д. На случай, если враг станет применять ядовитые газы, учили обращению с противогазом. Это такой прибор, он состоит из резиновой маски, защищающей лицо, гибкой трубки, напоминающей хобот, и фильтра, который обезвреживает вдыхаемые газы.

Что ещё может оказаться не совсем понятным? «Трамвайная колбаса»? Вопреки упомянутому предположению, эта штука совершенно несъедобна. В трамваях старой конструкции сзади был небольшой шланг, в котором монтировалась электрическая и пневматическая проводка на случай подсоединения к следующему вагону; когда вагон шёл последним, шланг закреплялся в загнутом виде. Вот на этой-то «колбасе» (вернее, не на ней, а держась за неё) катался недисциплинированный Мишкин сосед Геня Лошадкин.

В повести «Вот как это было» многое документально, основано на исторических фактах. Это не только памятные всем ленинградцам, пережившим блокаду, эпизоды с обстрелом зоопарка и пожаром в Народном доме, не только бомбёжка госпиталя... Так, например, стихи «Над Ленинградом нависла блокада», помещённые в главу «Школа в подвале», — это не стилизация, не подделка под детское творчество, нет, это подлинное стихотворение одного ленинградского школьника тех суровых годов. Юрий Павлович однажды показывал мне эти стихи, написанные старательным детским почерком, рассказывал, что ему подарили их на встрече с юными читателями в одной из школ Дзержинского района Ленинграда.

Повесть «Вот как это было» добавляет еще один, глубоко человеческий штрих к творческому портрету выдающегося советского писателя.

Александр Смолян

МОЙ ПАПА И Я

Мой папа — пожарный. Но дома он никогда не носит форменную одежду, а носит полосатую майку и старые серые штаны. И мои товарищи не верят, что мой папа — пожарный. Они говорят:

— Врёшь ты всё, Мишка. Если бы твой папа был пожарным, то он носил бы пожарную каску.

А я отвечаю:

— Как раз и не вру. Не может мой папа торчать дома в каске. Каска тяжёлая. Папе жарко. Он свою каску держит на службе, в команде — на гвоздике.

Но мне очень бы хотелось посмотреть на папу в полной пожарной форме. В каске. С топором. С фонарём. На пожаре, когда он командует:

— Тушите! Поливайте водой! Не робейте!

Мой папа никогда не командует дома. Лежит на диване, ест яблоко и читает газету. Даже нельзя подумать, что он пожарный.

КАКАЯ У МЕНЯ МАМА

А мама у меня учится. У неё есть свои учебники, и тетрадки, и даже пенал. Когда папа лежит на диване и читает газету, мама занимается по своим книжкам. В книжках у неё нарисованы разные самолёты и бомбы, и мама их перерисовывает в свою тетрадку. Однажды я раскрыл её тетрадку и приделал красный огонь вокруг бомбы, а между самолётами нарисовал зелёных и синих птиц.

— Это ты, Мишка, натворил? — сказала мама.

— Да, а что? — ответил я.

— Ужасно неприятно, — сказала мама, — всюду ты суёшься со своими карандашами. Пойми, наконец: я учусь на курсах местной противовоздушной обороны и прошу тебя относиться к моим занятиям серьёзно...

И мама мне рассказала, что такое боец местной противовоздушной обороны. Вышло так, что она тоже военный человек. Но мои товарищи опять этому не поверили, потому что у неё нет военной формы, пистолета или хотя бы сабли. Эх, повидать бы маму в военной форме и папу в каске, со шлангом в руках, — это да!



НАШИ УЛИЦЫ

Наши окна выходят на перекрёсток. Мы живём в большом сером доме, и наши окна выходят сразу на две улицы. Так что если мне надоест смотреть на одну улицу, то я смогу посмотреть на другую.

Что только делается на нашем перекрёстке!

Против наших окон строят школу, в которой я буду учиться.

На обеих улицах сажают деревья. Как только их посадят, наши улицы превратятся в бульвары.

На широкой улице прокладывают трамвайные рельсы. Как только рельсы проложат, у нас будет свой трамвай.

На узкой улице натягивают провода для троллейбуса. Как только натянут провода, у нас будет свой троллейбус.

Очень интересно живётся на нашем перекрёстке.

СВОЙ МИЛИЦИОНЕР

Как-то утром я проснулся, поглядел в окно, смотрю — моя школа готова. Уже окна моют и приколачивают вывеску.

Папа говорит:

— Приличный дом получился.

А мама говорит:

— Просто чудный. Ну, Мишка, пойдём покупать учебники, тетради и всё такое.

Пошли мы по магазинам, всё купили и вернулись домой.

Я весь день очень волновался. Даже папа у меня спросил:

— Может быть, у тебя живот болит?

На другое утро мы с папой вышли из дому вместе. Папа — к себе в пожарную команду, а я — к себе в школу.

— Ну, — говорит мне папа, — учись получше.

Я говорю:

— Ладно. И ты свои пожары туши получше.

А когда я возвращался из школы, по нашим улицам уже мчались трамваи и троллейбусы, и на перекрёстке стоял — кто бы выдумали?

Милиционер — вот кто! Это был превосходный милиционер. Он



был весь в белом. На одном боку у него был револьвер, на другом боку — сумка; потом у него был противогаз, потом — свисток, каска, белые перчатки... И на нашем доме теперь висел специальный телефон для нашего милиционера.

— Вот так раз, — сказал я, — теперь-то у нас есть свой милиционер.

Я стоял и смотрел на него.

Лицо у него было весёлое, загорелое, и я заметил, что у него были маленькие усы. И нос у него был курносый. Ну и милиционер!

Он ловко повернулся и показал рукой, что трамвай может ехать. И запретил ехать троллейбусу.

А потом опять повернулся и позволил ехать троллейбусу. А уж автомобилю запретил.

Ну и слушались же все вожатые и шофёры нашего милиционера!

А один, весь в кожаном, не послушался. Милиционер свистнул в свисток и сказал ему:

— Как это я должен понять? Может быть, вы хотите устроить аварию? Может быть, вы вовсе не шофёр? Может быть, вы не знаете правил уличного движения? Вы слишком много себе позволяете, гражданин! В следующий раз я вас оштрафую.

Он козырнул и махнул рукой, показывая этим, что шофёр может ехать дальше. А шофёр сказал:

— Извиняюсь, товарищ начальник.

И поехал.

ТРЕВОГА

Я пришёл домой из школы, помыл руки и сел обедать. Как раз на обед были мои любимые сосиски. Вот я съел три сосиски и стал быстро есть компот, а моя мама и говорит печальным голосом:

— Во-первых, не болтай ногами, а во-вторых, не торопись. Сегодня придётся тебе посидеть дома.

Я спрашиваю:

— А почему, интересно?

— Потому, — мама говорит, — что сегодня будет воздушная тревога, и, возможно, газовая. Это вроде войны. Такое обучение,

чтобы, если наступит война, люди знали, что им делать. Учебная игра.

— И ты будешь играть?

Мама грустно посмотрела на меня и сказала:

— К сожалению, нет. У меня режется зуб мудрости и температура тридцать девять. Мне запрещено выходить из дому.

— Вот так да! — сказал я. — Что это ещё за зуб мудрости? Разве у пожилых людей растут зубы?

— Всё бывает, — сказала мама, — но только я ещё, Миша, не пожилая, а молодая... Дать тебе ещё компоту?

Наелся я и лёг полежать. А мама у меня стала выпрашивать про школу, какие там ребята и с кем буду дружить. Поговорили мы с мамой, потом попили чаю, а тревоги всё нет. Я чуть было не заснул, вдруг мама спрашивает:

— Слышишь?

Можете себе представить — все гудки завывали. И по радио какой-то дяденька говорит, что тревога. И сирена воет. Мама погасила электричество, и мы с ней сели к окну. И видим — все окна тёмные. И везде темно.

Только один наш милиционер стоит в противогазе под синим фонарём. Я сразу спросил у мамы:

— Мам, а почему он синий фонарь не погасил?

— Потому, — мама говорит, — что сверху, с самолётов, синий свет вовсе не видно.

Вдруг едет машина. Милиционер её сразу остановил и всех пассажиров отправил в парадную. А шофёру погрозил пальцем.

— Правильно, — мама говорит, — нечего разъезжать, когда тревога. Бросят бомбу с самолёта — и пропали люди.

Потом наш милиционер остановил трамвай. И пассажиров быстро повёл в мою школу.

— Какие новые школьники, мам! — говорю я. — Видишь, с бородами.

Тут бомбы стали падать. Я немного испугался, но мама мне сказала, что это бомбы не настоящие и чтобы я не прыгал у неё на коленях, а то я ей колени отобью. В это время наш милиционер остановил человека в очках.

— Попался, — мама говорит, — не будет теперь без противогаза бегать!

И объяснила мне мама, что человек в очках теперь уже считается отравленным газами и что его сейчас повезут лечить. И мы с мамой стали смеяться. Очень уж было смешно смотреть, как

этого, в очках, стали укладывать на носилки, а он брыкался и хохотал.

— Наверное, щекотки боится, — сказала мама, — как ты.

Этого, в очках, втащили на носилках в автомобиль «скорой помощи», и автомобиль уехал. А бомбы стали падать всё чаще и чаще. Улица совсем опустела, и только наш милиционер по-прежнему стоял на своём посту и осматривался по сторонам.

— Какой всё-таки бесстрашный, — сказал я, — бомба ведь может упасть на него. Верно, мам?

— Советский милиционер никогда не убегает, — сказала мне мама, — он ничего не боится и всегда стоит на своём посту. И когда наступит война, он не убежит и не испугается, а так же будет охранять наш город, наш труд, и порядок, и спокойствие, как сейчас.

Упала ещё одна бомба, и наш милиционер опять не испугался. Он только повернул голову туда, где дымилась бомба, и пошёл звонить по своему телефону.

Потом приехали дегазаторы, посыпали чем-то белым наш перекрёсток, и тревога кончилась.

ШКОЛА МИЛИЦИОНЕРА

От нашего дворника я узнал, что милиционера зовут Иван Фёдорович, а фамилия его — Блинчик.

— Умный человек Иван Фёдорович, — говорил дворник, — умнейший. Ты думаешь, каждый, как захотел, так и стал милиционером? Ничего подобного.

— Вас бы не взяли? — спросил я.

— Никак, — сказал дворник. — Ни за что. Я плохо вижу. У меня один глаз здорово видит, а другой глаз безобразно видит. Такой милиционер уже не годится. Понял?

— Конечно, — сказал я.

— Или, например, глуховатый, — говорил дворник, — тоже не годится. А у нашего Ивана Фёдоровича Блинчика всё в полном порядке. У него зрение превосходное. Глуховатости никакой. И школу он кончил. Вроде твоей, но только для милиционеров. Он там всему научился. И как стрелять, и как стоять на посту, и как регулировать движение. Не так-то просто.

— Да, — сказал я, — не так-то просто.



Я — ЛУЧШИЙ ПЕШЕХОД

Постепенно я познакомился с нашим милиционером. Когда я шёл в школу, он уже стоял на своём посту. И я, переходя улицу, всегда соблюдал правила уличного движения.

— Вы лучший пешеход на моём посту, — сказал мне Иван Фёдорович. — Мне всегда приятно, когда вы переходите мою улицу.

— И мне приятно переходить вашу улицу, — сказал я, — будем знакомы.

Так мы и познакомились.

И с тех пор каждый раз, когда я иду в школу, Иван Фёдорович Блинчик мне козыряет. А я делаю ему пионерский салют, хоть я ещё и не пионер.

ЛОШАДКИН

У меня есть один товарищ, Геня Лошадкин. У Гени есть папа — очень полненький, в кепочке с пуговицей. Вот как-то идёт Генин папа по улице и кушает апельсин. Покушал, покушал и бросил корки на тротуар. Вдруг свисток. Это мой знакомый милиционер свистнул Гениному папе.

— Что такое? — спрашивает Генин папа. — Моя фамилия — Лошадкин. Вы мне свистнули?

— Вам, — говорит Иван Фёдорович. — Или подберите корки, или заплатите штраф. Нельзя сорить на улице.

— Что такое? — говорит Лошадкин. — Это просто удивительно. Куда же мне деть мои корки?

— Бросьте в урну, — посоветовал Иван Фёдорович и козырнул. Он был очень вежливый.

— Не хочу, — говорит Лошадкин.

— Ах так, — говорит Иван Фёдорович, — ну, так знайте, что вы и ваш сын очень несознательные люди. Вам известно, что ваш сын Геня ни больше ни меньше как катается на трамвайной колбасе? Я его два раза уже снимал с трамвайной колбасы. Мне стыдно думать, что бывают такие несознательные отцы и дети. Вы уже пожилой гражданин — и вдруг швыряете корки на тротуар. А если кто-нибудь поскользнётся на вашей корке и сломает себе ногу?



На новеньком, чудном бульваре вы швыряете свои корки... И ваш сын катается на колбасе... Я удивляюсь!

Сказав это, он опять козырнул, а Лошадкин говорит:

— Не хочу в урну, вы мне настроение испортили.

Ивану Фёдоровичу пришлось взять штраф, и у него тоже испортилось настроение. А я перестал дружить с Геней за то, что он катается на трамвайной колбасе. И кроме того, Геня сказал мне, что мой папа вовсе не пожарный. Как будто раз пожарный, то и ходи всё время в каске.

ЗИМА

Вот я учился, учился всю осень, а потом сразу, в одну ночь, наступила зима. Вечером ещё была осень и дождь моросил, а утром я подошёл к окну и как начал удивляться—всё белое. А папа бросил свою гимнастику и сказал:

— Настоящий буран. В двух шагах ничего не видно. Какая масса снега! Наверно, у вас в школе не будет никаких занятий.

А я говорю:

— Это, может быть, у вас в пожарной команде не будет никаких занятий. А у нас в школе будут все занятия.

Покушал и пошёл в школу.

Снег так и валит, а ветер так и свистит. Ничего не видно. Как бы, думаю, не удариться о своего знакомого милиционера Ивана Фёдоровича. Только успел подумать—и сразу налетел на Ивана Фёдоровича. Он стоит в серой каске и в серой шинели и не регулирует движение. Я сразу у него спросил, почему он не регулирует движение.

— Да движения никакого нет, — сказал Иван Фёдорович, — всё снегом занесло. Заносы. Трамваи стоят. Автомобили буксуют. Даже извозчик ехать не может—видишь, заснул на козлах.

Я посмотрел, но ничего не увидел.

— Ничего, — сказал Иван Фёдорович, — сейчас снегоочиститель приедет. Всё будет в порядке.

Вдруг как заскрежетало, завывало, загремело...

— Вот он мчится, — сказал Иван Фёдорович, — наш дорогой трамвайный снегоочиститель. Гляди, какой красавец! Сейчас трамвайное движение возобновится.

Здорово работал снегоочиститель!

Перед ним вертелась щётка и отбрасывала с рельсов снег.
И движение действительно возобновилось.
А снег понемножку перестал падать.
Дворники сгребали снег в кучи, и грузовики увезли снег.
А пока я занимался в классе, случилась оттепель.
Пошёл дождь.
Но дождь шёл недолго.
И сделался мороз.
И всё покрылось льдом.
Вот я пошёл домой, поскользнулся и как трахнулся башкой возле самого Ивана Фёдоровича. Он мне помог встать и спросил:
— Живой?
— Живой, — я говорю.
Иван Фёдорович покачал головой и сказал:
— Вот погодка несознательная, а? Воюй с ней как хочешь.
И свистнул в свисток.
Подошёл к нему дворник, а он говорит:
— Вот что, гражданин дворник, соберите своих других дворников и посыпьте участок песком. Каток образовался. Надо с этим безобразным положением покончить. Обратите внимание — лучший пешеход на моём участке сию минуту трахнулся о мостовую головой... Он очень недоволен. Верно?
Я говорю:
— Верно.
А когда я пришёл домой и выглянул из окна на улицу, то увидел, что дворники посыпают наш перекрёсток песком.
Это чтобы я больше не трахнулся.

АВАРИЙНАЯ МАШИНА

Вот так Геня Лошадкин! Знаете, что случилось?
Он опоздал в школу. Вот что случилось. Пропустил весь первый урок. И бежал бегом, чтобы не опоздать на второй урок. И перебежал улицу не по правилам. И чуть не попал под колёса троллейбуса.
Вы видели что-нибудь подобное?
Вожатый троллейбуса, чтобы не раздавить Геню Лошадкина, очень резко повернул руль, и троллейбус порвал свои провода.

А у нас в классе была перемена, было открыто окно, и мы все смотрели в окно и видели, как рассердился мой знакомый милиционер Иван Фёдорович.

— Ах, это опять негодный Геня Лошадкин! — закричал он так громко, что мы все услышали. — Что вы натворили, вы видите? Разве можно не соблюдать правила? Марш в школу, негодный Лошадкин!

Что только сделалось на перекрёстке!

Троллейбус мешал проехать трамваю, трамвай звонил, автомобиль гудел — ужас, как они все скандалили!

— Увидите, что сейчас будет, — сказал я, — увидите, как мой знакомый милиционер Иван Фёдорович будет спасать уличное движение.

А Иван Фёдорович тем временем уже разговаривал по телефону. И не успели мы опомниться, как, гудя и гремя, примчалась новенькая аварийная машина. Это, наверное, Иван Фёдорович вызвал её по телефону. На аварийной машине была устроена башня. Башня поднялась до самых проводов. На башню влезли рабочие в резиновых перчатках и починили провода. И машина уехала. А мы собрались в кружок вокруг Гени Лошадикина и как следует отругали его за то, что он опаздывает, нарушает уличное движение и катается на колбасе.

ДЕВОЧКА ЛЕНОЧКА

Однажды я шёл из школы и вдруг заметил, что Иван Фёдорович сидит на корточках. Никогда он прежде не сидел на корточках. Я очень удивился. Оказалось, что он сидел на корточках перед маленькой девочкой. Лица девочки не было видно. Был виден только один нос. Так замотали девочку платком. Вокруг стояли люди и улыбались.

А Иван Фёдорович спрашивал:

— Вы чего плачете? Вы скажите, чего вы плачете? Или, может быть, вы смеётесь? Мне не видно из-за вашего платка. Вы с мамой были? Или вы с бабушкой были? Или вы с тётёй были?

Но девочка плакала и прижимала к себе маленькую куклу.

— А как ваша фамилия? — спрашивал Иван Фёдорович. — Вы где живёте?



Он оставил на своём посту дворника и взял на руки плачущую девочку вместе с куклой.

— Отнесу вас в отделение милиции, — сказал Иван Фёдорович, — ничего не поделаешь.

Иван Фёдорович взял и меня с собой. Мы шли, а девочка всё плакала и плакала.

— Какой-то у вас голос некрасивый, — сказал Иван Фёдорович, — даже у меня уши заболели. Кричите хотя бы тогда в сторону.

В отделении милиции была очень хорошенькая комната для таких потерявшихся детей. Там были большие куклы, заводной танк и железная дорога. Я нагнулся и развязал у девочки платок.

— Вот так штука! — сказал я. — Эта девочка мне знакома. Это Леночка Лошадкина. Здравствуй, Леночка!

— Здравствуй, — сказала она и перестала плакать.

НУ И СЕМЕЙКА!

— Я могу сойти с ума! — сказал Иван Фёдорович. — Надо же иметь на своём участке такую семейку: папа Лошадкин кидает апельсиновую кожуру, Геня Лошадкин катается на колбасе и ещё поломал троллейбус, а маленькая Леночка потерялась. Кто виноват? Виноват во всём папа Лошадкин.

Только мы вышли из детской комнаты — вдруг нам навстречу несётся папа Лошадкин и спрашивает:

— Тут моя дочка?

А Иван Фёдорович молчит.

— Тут моя дочка? — спрашивает папа Лошадкин ещё раз. — Я её потерял. Я начал газету читать и потерял свою дочку. Ох, мне дурно! Дайте мне воды. Дайте мне мою дочку. Дайте мне стул посидеть...

И следом за ним вбегает Геня Лошадкин и говорит:

— Где моя сестра?

А Иван Фёдорович всё молчит.

Помолчал, помолчал и говорит:

— Ладно уж. Тут ваша Леночка, играет с большой куклой. Мне просто стыдно, что на моём посту такая семья проживает. До чего дошли! Дочку потеряли.

Схватил папа Лошадкин свою дочку на руки и говорит:



— Спасибо вам, Иван Фёдорович. Возьму себя в ежовые рукавицы. Никогда больше не буду. Теперь я знаю, что такое милиция.

— И я тоже не буду ездить на колбасе, — сказал Геня, — я буду лучший пешеход.

— Ладно, — сказал Иван Фёдорович, — поглядим. Меньше слов, больше дела.

Мы попрощались и разошлись каждый в свою сторону.



ПОЖАР

Папа был на работе, а мама ушла за яблоками. Я сидел и учился. Учился и учился и не слышал, как выкипел электрический чайник. И потом сразу вдруг запахло дымом. От дыма у меня выступили слёзы, а я подумал, что, может быть, мне так надоело учиться — до слёз. И решил немного попрыгать через стул. Оглянулся, вижу — пожар. Стол горит, скатерть горит — пожар, да и только. Я как крикнул! Не помогает. Ещё сильнее горит. Выскочил

я на перекрёсток и без всяких правил уличного движения побежал к Ивану Фёдоровичу. Подбежал и говорю:

— Горим! Ура!

Я хотел сказать: «Горим! Пожар!», а сказал: «Горим! Ура!» Это от волнения со мной случилось.

Иван Фёдорович поставил вместо себя дворника, мы взялись за руки и побежали.



Я по дороге говорю:

— Позовите по телефону моего папу. Он пожарник. Он любой пожар в минуту потушит!

— Ладно,— говорит Иван Фёдорович,— без паники.

Прибежали мы домой, а там такой дым, что ничего не видно. Иван Фёдорович сейчас же выключил чайник, потом позвонил по телефону, потом велел мне таскать из кухни воду. А сам заливал огонь и тушил его одеялом.

И через несколько минут всё потушил.

ПАПИНА КАСКА

Вдруг входит мой папа.

Вот так папа!

В каске, фонарь на груди, топор на боку, а за ним пожарные — целая толпа.

Вот это папа так папа!

— Ну и стыд,— говорит он,— у меня в квартире пожар. Спасибо вам, Иван Фёдорович, что потушили. Позвольте пожать вашу руку.

А Иван Фёдорович отвечает:

— Уж лучше вы её не пожимайте. Она у меня болит. Я её обжёг.

Папа сейчас же помазал Ивану Фёдоровичу руку мазью.

— Вот и хорошо,— сказал Иван Фёдорович. — Теперь я надену белую перчатку, и ничего не будет заметно.

Тут пришла мама с яблоками.

— А у нас пожар был,— говорит папа. — Дай-ка нам по яблоку. Скатерть твоя сгорела. В жизни я так не хохотал! Чтобы у самого пожарного — вдруг пожар.

И они смеялись, и мама сказала:

— Милиционер — просто герой. Руку обжёг — и хоть бы что.

— Да,— сказал я,— он герой, но и наш папа тоже ничего себе.

И мы с мамой стали говорить о том, что наконец-то повидали папу в полной пожарной форме.

Поговорили, и я выглянул в окно: мой знакомый милиционер по-прежнему регулировал уличное движение.

А на улице была уже весна. Очень ярко светило солнце, на деревьях распускались почки, чирикали птицы.

— Мам, весна! — сказал я.

— Да,— сказала мама,— скоро уже Первое мая.

ПЕРВОЕ МАЯ

Утром папа надел белую рубашку, синий пиджак и сел пить чай с пирогами. А я в это время мыл шею и уши.

— И зубы мудрости вычисти порошком,— сказал папа. — Мой сын должен сверкать весь, как медная пуговица... Наташа, привяжи ему галстук.



Мама привязала мне галстук, и мы пошли. Возле дома стоял Геня Лошадкин — начищенный и намытый, но немного грустный.

— С Первым маем, Лошадкин, — сказал я. — Мой папа — лучший пожарник, и потому он получил билет на трибуну, откуда всё видно, а я...

— А вы, Миша, хвастун, — сказал сзади знакомый голос. — Лучший пешеход в моём районе должен быть к тому же скромным человеком, не так ли, товарищ Лошадкин?

Я обернулся и увидел Ивана Фёдоровича. Он был в штатском костюме и держал руку на перевязи.

— С праздником, — сказал мой знакомый милиционер. — Приглашаю вас, товарищ Лошадкин, пройти со мной на трибуну. В последнее время вы стали обращать внимание на правила уличного движения, и я горячо приветствую вашу дисциплинированность. Не стесняйтесь, пойдёмте! Как поживает ваша маленькая сестра Леночка?

— Наша Леночка заболела, — сказал Геня, — у неё болит горло, и она не кушает даже пирожное. Представляете? С розовым кремом корзиночка, а она не кушает.

— Невозможно представить, — сказал Иван Фёдорович. — Если бы она ещё не кушала песочное пирожное, а то корзиночку с розовым кремом...

По дороге Иван Фёдорович рассказал нам, почему у него рука на перевязи. Всё дело было из-за нашего пожара. Тогда он обжёг руку и думал, что это пустяки, но оказалось — не пустяки, и доктор запретил ему регулировать движение.

— Даже неудобно смотреть в глаза своим товарищам по работе, — сказал Иван Фёдорович, — вместо того чтобы регулировать колонны трудящихся, я прогуливаюсь в штатском костюме...

На трибуне было очень интересно. Нас с Лошадкиным пропустили вперёд, и мы видели всю площадь и весь замечательный военный парад. Мы только зазевались, когда полетели самолёты, и не сразу посмотрели вверх, но зато всё остальное мы видели с начала до конца — и пехоту, и моряков, и большие танки, и маленькие танкетки, и пушки, и пулемёты, и кавалерию, и даже музыкантов, которые тоже прошли перед нашими трибунами. И демонстрацию мы видели, хоть и устали стоять к этому времени. А когда всё кончилось, папа пригласил на обед к нам Ивана Фёдоровича.

— Благодарю вас, — сказал Иван Фёдорович, — но удобно ли будет, если я стану кушать левой рукой?



— Пустяки, — ответил папа, — моя жена Наташа будет очень рада угостить вас в нашем доме.

За обедом папа рассказывал разные случаи неосторожного обращения с огнём, а Иван Фёдорович рассказывал, как соблюдают правила уличного движения. Вечером пришёл Геня Лошадкин и сказал:

— Можно у вас посидеть? Леночка наша совсем заболела и даже ничего не понимает, когда ей говорят. Мама плачет, а папа отправился за доктором. Вместо обеда я только скушал два пирожных.

Моя мама покормила Геню обедом, а поздно ночью мы узнали, что у Леночки скарлатина и что её увезли в больницу.

— Вот так номер, — сказал Иван Фёдорович, — час от часу не легче. Тем не менее советую вам, друзья мои, не унывать.

И он попрощался с нами левой рукой.

МАМА ИСПУГАЛАСЬ

Вот я рисовал, рисовал и есть захотел. Вечером это было. Папа наш спал, а мама учила уроки.

Я и говорю:

— Мам, ты меня извини, что я тебя отрываю, но только я кушать хочу.

А мама отвечает:

— Сию минуточку, потерпи, пожалуйста, Мишук, не отвлекай меня. Можешь потерпеть?

— Могу, — говорю, — но только немного. Уж очень у меня аппетит разыгрался. Слышишь, как в животе урчит?

Мама не ответила; я ещё два танка нарисовал и потом домик. Домик вышел кривой, и тогда я нарисовал, что он горит. А танки переделал в дирижабли. Тут мама кончила готовить уроки, сложила свои книжки и пошла накрывать на стол. Открыла буфет да как закричит:

— Мишка, мышка, Мишка, мышка!..

А сама вся бледная сделалась, дрожит, и на глазах слёзы выступили.

Папа с дивана вскочил, командует:

— По машинам!

Это ему показалось, что на пожар надо ехать.

А маленькая мышка по полу бегают, никак свою нору от этого крика найти не может. Потом папа разобрал, в чём дело, как начал хохотать.

— Ай да Наталья, — говорит, — ай да храбрец! Представляю, как ты будешь тушить зажигательные бомбы в случае войны или разбирать фугасные замедленного действия... Эх ты, Наташа моя, Наталка, Наталочка...

Мышка за это время куда-то удрала.

Ну, а мама нахмурилась и молчит, чай наливает.

— Ничего, — папа говорит, — ты не огорчайся, Наташа. Я завтра мышеловку куплю. Все вы, девочки, трусихи, верно, Миша?

Я ответил, что не знаю.

— А я знаю, — сказал папа. — Ведь мы с тобой не боимся мышей, верно?

— Верно, — говорю.

— И крыс не боимся, и пауков. Так?

— Так, — говорю.

Вдруг мама отодвинула от себя чашку с чаем и встала.

— Я тоже могу не бояться, — сказала мама, — и зря вы меня обижаете. Когда понадобится, я ничего не испугаюсь, вот увидишь, Мишка. И неправда это, что девочки трусихи: девочки ничуть не хуже вас — мальчиков. Не хочу больше с вами чай пить.

Тут папа стал перед мамой извиняться и очень долго извинялся, и я тоже извинялся, и всё-таки мама весь вечер с нами не хотела разговаривать. И когда я лёг спать, сказала мне: «Спокойной ночи, Михаил». А не «Мишка», как говорила всегда.

Я ЗАБОЛЕЛ!

Ну и штука — я заболел скарлатиной.

Вылезаю я из ванной, а мама говорит:

— Ну-ка, ну-ка, что это у тебя такое?

А у меня на груди, и на ногах, и на животе сыпь. Мама говорит:

— Садись обратно в ванну, я быстро в книжке посмотрю.

Убежала и возвращается с книгой. Прочитала, потом говорит:

— Сыпь малинового цвета. Так. Щёки красные — так. Нос белый — совершенно верно...

И как заплачет! Завернула меня в простыню, потом в одеяло, потом ещё в одеяло, положила на кровать, суёт мне градусник. А слёзы по щекам так и льются.

И спрашивает меня:

— Горло болит? Глотать больно? Говори скорее, я с ума схожу.

Я принялся глотать — болит.

Она мне ложку в рот:

— Говори: а-а-а.

— А-а-а!

— Так и есть. Давно горло болит?

— Утром болело, а потом прошло, а потом опять заболело.

— Почему же ты мне раньше не сказал? Что за мальчишка такой, я тебя больного в ванне мыла...

Сразу доктор пришёл и сказал, что меня заберут в больницу. Мне это не понравилось, но он объяснил, что там много ребят и скучно мне не будет.

Утром, я как раз какао пил, входят два человека в белых халатах, и один, молодой, спрашивает:

— У кого тут воспаление лени?

Я отвечаю.

— Воспаления лени у меня нету, я учусь хорошо, а скарлатина у меня есть. Вы на машине приехали? Сейчас какао допью, и, если хотите, поедem. За девочкой Лошадкиной вы тоже приезжали? Вот, наверное, ревела?

А мама у них спрашивает:

— Скажите, это не опасно, что он так много говорит? Как сорока, а температура всего тридцать семь и шесть.

Постарше отвечает:

— Все они как сороки.

Меня положили на носилки, закутали в одеяла и понесли. Потом в машину носилки засунули и который помоложе сел рядом. Как раз в эту минуту папа к дому подбежал.

— Не робей, — кричит, — Мишка, и в больнице люди живут!

Дверца захлопнулась, и мы поехали.

А на нашем перекрёстке я поднялся и крепко прижал лицо к стеклу, чтобы Иван Фёдорович увидел, кто проезжает мимо него в шикарной «скорой помощи» с красными крестами и ревущим гудком.

Вот уж не думал, что мне удастся прокатиться в «скорой помощи».



НОВЫЙ ЗНАКОМЫЙ

Положили меня в больницу и говорят:

— Очень у Мишки лёгкий случай скарлатины. Вот бы всем такую скарлатину. Это очень милая скарлатина.

Надоело мне всё это слушать. Один доктор придёт посмотрит, другой придёт посмотрит — даже в глазах мелькает. А мама моя под окошками стоит и смотрит. Мама уйдёт, папа придёт.

И очень шумно вокруг. Как в школьной раздевалке. Кроватей много, и везде ребята, и все выздоравливают. Один кричит: «Пить давайте!», другой кричит, что горшок ему надо, третий домой хочет, четвёртому книжку принести, пятый ногой в пододеяльнике запутался — ужас...

Вот день я пролежал, другой пролежал, вдруг смотрю — несут к нам в палату взрослого дядю. И кладут его на большую взрослую кровать. А он весь красный — и спит. «Что, — думаю, — такое?» Это же больница для детей. И скарлатина — детская болезнь. Откуда тут взрослый?

На другой день нянечка нам объяснила. Ну и штука — это лётчик, можете себе представить. Настоящий лётчик. У него дочка заболела скарлатиной, и за нею он заболел. А теперь лежит и бредит, говорит какие-то непонятные слова, и всё время рядом с ним специальная нянечка сидит.

Очень долго он спал.

Всё утро, и день, и вечер, и всю ночь спал, и ещё день, и я сам слышал, как главный наш доктор про него сказал:

— Плохо. Чрезвычайно плохо. Хуже не бывает.

Весь следующий день под моим окном стояла какая-то женщина, заглядывала к нам и плакала. И спрашивала меня, прижав руки к стеклу:

— Как там Алексей Павлович?

— Плохо, — говорил я, очень плохо. Хуже не бывает.

А вышло всё наоборот. Алексей Павлович в это время уже поправлялся. И вечером громко спросил:

— Как это понять? Почему так много детей? Что я тут делаю?

Специальная нянечка сразу проснулась и хлопотала вокруг лётчика, принесла ему чаю в чашке, на которой был нарисован цыплёнок, и позвала к нему главного доктора. И главный доктор объяснил.

— Видите ли, — сказал он, — у вас — скарлатина. Взрослые редко болеют этой болезнью, и потому вас положили к детям. Но



кровать у вас взрослая, а что чашка с цыплёнком, то вы уж нас извините, у нас есть ещё с коровками, с собачками, с кошечками. А других чашек у нас нет.

— Тогда уж дайте мне чашку с собачкой, — сказал Алексей Павлович. — А тарелку с коровкой. Насчёт того, что тут много детей я не возражаю. Если же они всё время будут трещать как сороки, то я со своей кроватью уеду в коридор, вы позволите?

Мы все сразу замолчали.

И с этой минуты в палате стало потише, потому что никто из нас не хотел, чтобы военный лётчик Алексей Павлович уехал от нас в коридор.

— Так-то, ребята, — сказал лётчик, когда главный доктор ушёл, — видите, какая история. Ничем я в жизни не болел, и вдруг — хлоп! — скарлатина. Даже неудобно будет товарищам рассказать.

— А товарищи у вас тоже лётчики? — спросил я.

— Есть и лётчики, — сказал он, — всякие есть у меня товарищи...

Тут мы все загалдели и стали просить Алексея Павловича, чтобы он нам рассказал про самолёты, про воздушную войну и про лётчиков. Но он отказался, потому что был ещё слабый и хотел спать. И тут мы все сразу затихли, потому что он мог ведь уехать в коридор.

— Начну поправляться, тогда всё расскажу, — сказал Алексей Павлович, — и про истребителей, и про штурмовиков, и про бомбардировщиков. А сейчас команда вам всем: спать!

УШИ БОЛЯТ

Лёгкая-лёгкая была у меня скарлатина, да вдруг сделалось осложнение на уши. Это да, это больно. Лежу и плачу — вот как больно, и никакая нянечка не может меня утешить. И никакое варенье из клубники не хочу есть, и никакую пастилу, и никакие картинки в книжках не рассматриваю. Очень это плохо, когда такая болезнь привяжется.

Вот ночью однажды проснулся и вскочил прямо — так больно. А тут, откуда ни возмись, Алексей Павлович.

— Худо тебе? — спрашивает.

— Худо, — говорю.

— Плачешь? — спрашивает.

— Нет, — говорю, — это просто вам так кажется. Жарко тут; наверное, вспотел я.

— Тогда, — говорит, — оботри пот и раскройся немножко. Да слушай. Рассказывать стану. Можешь слушать? Про лётчиков-истребителей и про всё что хочешь.

Можете себе представить? Все спят, даже нянечка дежурная спит, тишина в палате, а мы вдвоём с военным лётчиком сидим, и он мне рассказывает. Ох и рассказывал он здорово! Как его самолёт загорелся в воздухе, и как он стал падать, и какие у него были ожоги по всему телу. Вот привезли его в военный госпиталь, положили на кровать, лежит он и думает: плакать или не плакать? Уж очень больно, а если слишком больно, то взрослые тоже иногда плачут. Но он не заплакал. И не застонал даже. Закусил зубами подушку и, пока боль не прошла, тихонько лежал. Потому что врага победить — это ещё полдела, а вот свою боль победить и не заплакать — это главное дело.

Потом рисовать мы с ним стали. Вот это да, вот это рисунки! Все самолёты он мне нарисовал, и когда какой строй у самолётов бывает — всё нарисовал, и как здорово: строй парой, и строй пеленга, и строй фронта, и строй клина, и строй колонны звеньев; а потом штопор мне нарисовал и скольжение листов — это такие фигуры, которые самолёты выделывают. И воздушное сражение мне цветными карандашами раскрасил — небо, и самолёты, и взрывы, и разное другое — военное.

Проголодались мы с ним и давай его бутерброды уплетать. Съели, за мою пастилу взялись. После пастилы варенье прикончили.

И тут только я про свои уши вспомнил. Даже руками потрогал.

Алексей Павлович спрашивает:

— На месте?

— На месте, — говорю.

— Не болят?

— Чуть-чуть болят, — отвечаю.

— Выспишься — и вовсе пройдут. Спокойной тебе ночи, Мишка.

— И вам, — отвечаю, — спокойной ночи, Алексей Павлович. Спасибо вам за ваши рассказы и картинки. Завтра, если вы хотите, я вам буду рассказывать.

Но завтра мне ничего рассказывать не пришлось.

ВОЙНА НАЧАЛАСЬ

Как раз это было воскресенье, и мы творожники со сметаной и сахаром ели. По три творожника, а если кто-нибудь хочет, то ещё можно. Я четыре съел, а военный лётчик Алексей Павлович — девять. Он поправляться стал, и нянечка даже с ног сбилась — всё ему по штуке носила. Потом говорит:

— Вы, Алексей Павлович, извините, я вам сразу полдюжину принесу, для вас это даже незаметно будет, а меня уж и ноги не носят...

Потом молоко пили с булками, потом подушками кидались, потом Алексей Павлович приказал:

— Тише! А то я от вас укачиваюсь, как от морской качки.

А мы все с кровати повскакали, его облепили и кричим:

— Рассказывать, рассказывать, рассказывать...

Очень весело нам было.

Вдруг главный доктор пришёл и крикнул:

— Марш все по кроватям!

Подсел к Алексею Павловичу и что-то с ним зашептал. Долго шептал. Потом мы все поняли, про что он шептал: про войну. Пока мы спали, как раз война началась — проклятый Гитлер со своими фашистами напал на Советский Союз. Тут Алексей Павлович заторопился из больницы уходить. Спорили они, спорили с главным доктором, и даже до крика дошло у них. Алексей Павлович встал, и главный доктор перед ним стоит, руки в боки держит.

— Не имеете права, — Алексей Павлович говорит. — Я должен явиться в свою военную часть, к своим товарищам-лётчикам, к своему начальнику.

А главный доктор в ответ:

— Сейчас я ваш главный начальник.

Алексей Павлович ему говорит:

— Неправильно это. Вы — главный начальник над нянечками и сёстрами, а не над военными лётчиками.

Тут главный доктор совсем закричал:

— Вы, — кричит, — для меня не военный лётчик, а больной скарлатиной, как все эти ребята! Уж если вы такой военный, так нечего было и скарлатиной болеть... И не повышайте на меня голос, потому что это дурной пример для всех ребят. Сегодня на меня скарлатина кричать будет, завтра корь, а послезавтра коклюш закричит!



Алексей Павлович очень смутился и попросил прощения у главного доктора. А главный доктор ответил:

— И вы меня извините.

Пожали друг другу руки, и ушёл главный доктор. А мы стали выпрашивать Алексея Павловича про войну. Военный лётчик Алексей Павлович сел посередине нашей палаты и покашлял. Потом заговорил:

— Напали на нас фашисты сегодня ночью и на многие города уже бомбы сбросили. На Севастополь сбросили, на Киев, на Житомир и людей поубивали. Они сразу хотят нас запугать, но не будет этого, ребята, не такие мы с вами люди, чтобы испугаться Гитлера с его фашистами. Правильно я говорю?

— Правильно! — закричали мы все. — Ура!

И нам было даже странно смотреть на наших нянечек, которые ходили с заплаканными глазами и очень нас всех гладили, и тискали, и даже целовали — точно мы были лётчики, или танкисты, или военные моряки.

У НАС В БОЛЬНИЦЕ

Война началась, а у нас всё по-прежнему в больнице. Лежим себе, кушаем, лекарства разные глотаем — кому сладкие дают, кому горькие, кому солёные. Одни выписываются, другие приезжают. Мама моя в окошко заглядывает, даже Иван Фёдорович однажды пришёл в полной форме и в окно на меня посмотрел. Все ребята ко мне с вопросами:

— Это твой милиционер?

— Мишка, может, ты на колбасе катался?

— Мишка, это твой папа милиционер?

Я спокойненько отвечаю:

— Мой папа не милиционер, а пожарник. На колбасе я никогда не катался. А это мой хороший знакомый Иван Фёдорович Блинчик. Я на его участке живу, и у меня с ним хорошие отношения.

Долго потом обо всём об этом разговаривали. Не у всех ребят папа пожарник, и не у всех милиционер знакомый. А после ужина мы с моим соседом Толей Захаровым решили уходить на фронт. Скучно же так лежать. И ещё потому решили уходить, что давеча нам военный лётчик Алексей Павлович так сказал:



«Войну мы кончим нашей победой, потому что весь народ воевать будет».

Весь, а мы?

На дорогу мы себе начали откладывать продукты. По одной котлете от обеда, по полбулочки от завтрака, сахар от ужина, картошку жареную в бумагу завернули и яблоков пять штук. И как все заснут, мы давай шептаться:

— Давай к танкистам пойдём.



— Нет, к лётчикам.

— К лётчикам не возьмут, у них вокруг аэродрома часовые ходят...

— А у танкистов не ходят?

— Танки просто в лесу стоят.

— А если в пулемётчики?

— Тогда уж лучше к артиллеристам. У них вó какие пушки! Вот так мы однажды говорили, говорили, вдруг сирена завывала.

Как прошлым летом. И гудки. Большой шум сделался. Я Захарову объясняю:

— Знаешь, что это такое? Это учебная тревога. Как такая штука завоет—так моя мама бежит учиться.

А Алексей Павлович спустил ноги с кровати и говорит:

— Боюсь, ребята, что это не учебная.

Тут всё и началось. Нянечки бегают, сестра пришла, доктор, всех нас в подвал повели и говорят:



— Это бомбоубежище. Отсек номер три для скарлатины. С корью разговаривать не смейте, она во втором отсеке. По этому коридору не ходить—он для коклюша. Садитесь по скамейкам.

Вот мы сидим, и Алексей Павлович с нами сидит—очень сердитый. Наши маленькие сразу на нём качаться начали. На ногах, на плечах. А которые побольше, его обороняют. В это время всё и случилось.

Я даже не помню, что случилось. Помню, что свистки какие-то свистят, и синие лампы передо мной качаются, и стрельба такая, что в ушах трещит. И пить очень хочется.

И кто-то кричит рядом:

— А-а-а-а!

И ещё кто-то тихонько говорит:

— Ножку больно, ножку больно, ножку больно...

Потом меня подняли и понесли.

И я опять всё забыл или заснул вдруг.

Утром проснулся—палата другая, и всё другое—не так, как у нас. И сидит рядом со мною Алексей Павлович—военный лётчик.

Спрашивает:

— Что, брат, худо?

Я на него смотрю и вижу: всё лицо его перевязано бинтом, и голова перевязана, только один глаз смотрит и нос торчит.

— С добрым, — говорю, — утром, Алексей Павлович.

— Ничего себе, — отвечает, — доброе утро. Болит нога?

Я ногой шевельнул и как завою.

Тогда он мне всё и объяснил. Фашисты в нашу детскую больницу бомбу с самолёта сбросили. Пробила она потолок, полы и угодила в бомбоубежище.

Поранило, говорит, кое-кого.

Рассказал и отвернулся.

Я стал спрашивать, кого поранило; он молчал, молчал, потом ответил:

— Нас с тобой.

— А ещё?

Молчит.

— Где же все остальные? — спрашиваю.

Молчит.

Потом поднялся и стал ходить. Никогда я не думал, что может человек столько по комнате ходить из угла в угол. Наверное, часа три ходил—то быстрее, то медленнее.

И вдруг за голову схватился, да как застонет, да зубами заскрипит...

И заговорил:

— Никогда вам этого не прощу, никогда! Умирать буду и не прощу!

Очень, наверное, у него голова болела, и очень он за это на фашистов сердился.



Я ОПЯТЬ ДОМА

Знаете, что случилось?

Ранили-то меня серьёзно! Это я сначала не понял, а потом, оказывается, о-хо-хо! И осколками, и щепками, и чем хотите. Но я держался ничего себе. Это мне и доктор говорил, и сестра, и нянечка.

Я на перевязках только кряхтел, а чтобы реветь — этого от меня никто не дождался.

До самой осени меня всё лечили и лечили.

Скучно лежать-то! Попробуйте после скарлатины ещё столько лежать.

Алексей Павлович ушёл: выписался.

Очень мы с ним подружились. Только он такой сердитый под конец сделался — просто невозможно. Даже сам предупреждал:

— Не разговаривай со мной, а то укушу. Я за себя не ручаюсь.

А как выписывать стали — просто другой человек сделался. Повеселел. Не ходит, а танцует. И нянечку Анну Васильевну на руках по всему коридору пронёс. Мы с ним, конечно, на прощание поцеловались, и он обещал ко мне в гости зайти. Ему ведь тоже интересно — не у каждого мальчика папа пожарный и знакомый милиционер Иван Фёдорович Блинчик.

Вот уже и осень наступила.

Тревоги очень часто бывали теперь, чуть не каждый вечер, и все мы в нашей взрослой палате слушали, как стреляют зенитки и как фашистские стервятники бомбы сбрасывают.

И про войну говорили.

И про то, что наш город теперь очень близко к фронту находится. И про то, что фашисты наш город весь кругом окружили. И про то, что теперь довольно часто кушать хочется, а кушать нечего. И про то, что мы всё равно победим фашистов, и окружение ихнее прорвём, и опять будем жить весело и хорошо, как до войны жили.

Очень много у меня ещё знакомых сделалось за это время, пока я лежал в военном госпитале.

Вот как их зовут:

Полковник Свиридов.

Майор Груздь.

Ефрейтор Мельник.



Это мои хорошие друзья, а с которыми я просто разговаривал, тех я даже и не считаю.

Попрощался с ними уходя и вышел, опираясь на костыль. Посмотрела на меня мама и сказала:

— Вот и кончилось твоё детство, Мишка.

И заплакала почему-то.

НИКУДА МЫ НЕ ПОЕДЕМ!

— Ты поедешь в эвакуацию к тёте Зое, — сказал папа.

— Никуда он не поедет от меня, — сказала мама.

— И я нахожу, что это ни к чему, — произнёс Иван Фёдорович Блинчик. — Мы, трое взрослых, поднимем этого молодого товарища. Как-нибудь.

— Он поедет в эвакуацию к моей сестре Зое в Ташкент, — сказал папа.

— Не поедет он! — крикнула мама. — Твоя Зоя его и не приглашает. Не хочу я, чтобы мой Михаил был в тягость какой-то тёте Зое.

— В тягость никогда не следует, — начал Иван Фёдорович, но папа не дал ему кончить.

Он очень обиделся, что мама назвала его Зою «какая-то». Папа сказал так:

— Зоя — моя сестра, и я не позволю тебе, Наташа...

В это время я потихоньку вытащил у Ивана Фёдоровича свисток и свистнул.

— Извините, — сказал я, — но мне никак нельзя ехать. И пожалуйста, не ссорьтесь. Я раненый человек, у меня нога болит, ко мне в гости разные люди могут прийти, а я — здрасте, уехал к тёте Зое в Ташкент. Алексей Павлович придёт, военный лётчик, или майор Груздь из танковых войск, или полковник Свиридов, или ефрейтор Мельник. Что вы тогда скажете?

Очень долго все спорили. До тех пор, пока не пришёл Геня Лошадкин.

— Здравствуй, Лошадкин, — сказал я, — вы разве не уехали?

— Здравствуйте, товарищи, — сказал Геня, — привет вам всем. Никуда мы не уехали. Мама моя работает сестрой в госпитале, папа мой находится на военной службе...

— Это товарищу Лошадкину полезно очень, — заметил Иван Фёдорович. — Наша армия сделает его вполне дисциплинированным товарищем.

— Ну, а мы с сестрой Леночкой сидим дома, — добавил Геня. — И занимаемся. Наша школа теперь переехала в подвал, и я пришёл узнать, будешь ли ты, Мишка, учиться дальше.

Все замолчали, глядя на меня.

Я тоже помолчал. В военном госпитале майор Груздь всегда отвечал не сразу, а подумавши.

— До праздника я ещё посижу дома, — сказал я, — потому что у меня побаливает моё ранение. Ну, а после праздника я пойду учиться.

ВОЕННЫЙ ПЕРЕКРЁСТОК

Не узнать наш перекрёсток теперь.

Витрины магазинов заложены мешками с песком. Много окон забито фанерой. А там, где раньше был цветочный магазин, теперь дзот. Это на тот случай, если какие-нибудь сумасшедшие фашисты попробуют прорваться в город. Дальше нашего перекрёстка им всё равно не пройти.

Совсем изменился наш перекрёсток.

Помните мою школу?

Ну, ту самую, в которой я учился и где я буду учиться, когда мы разобьём фашистов?

Так она вовсе теперь не школа, а госпиталь. Военный госпиталь вроде того, где меня лечили после моего ранения. Туда привозят с передовой раненых командиров и красноармейцев и лечат их. И оттуда они возвращаются обратно в свои военные части.

Всё теперь стало по-новому, по-военному. На нашем доме, например, стоят зенитные пушки. И по нашей лестнице теперь часто ходят зенитчики. Один даже меня спросил:

— Ты почему это, браток, с костылём? Шалил, наверное?

— Нет, — сказал я, — это осколочное ранение.

Зенитчик остановился, и другие зенитчики тоже остановились.

— Видали? — спросил мой молодой зенитчик. — Видали, что делается? Такого молодого товарища ранили фашистские кровопийцы. Ну ладно же!

Трамваев теперь очень мало ходит мимо нас.

И машин тоже мало.

А троллейбусы совсем остановились. Так что Ивану Фёдоровичу почти что нечего регулировать на нашем перекрёстке.

Очень изменился наш перекрёсток нынче.

Ничего не поделаешь: война.

ВОТ ТАК МАМА...

Что только делается на нашем перекрёстке...

Представляете себе? Геня Лошадкин, тот самый, который когда-то катался на трамвайной колбасе и даже поломал троллейбус, этот Геня Лошадкин потушил две бомбы-зажигалки. Но этого ещё мало. Та самая Леночка, которая когда-то потерялась, ну, Леночка Лошадкина, дочка того самого Лошадкина, который когда-то накидал апельсиновые корки на тротуар, — эта Леночка насобирала в своём дворе и по квартирам сто двадцать семь пустых бутылок. Знаете, для чего? Для горючей жидкости, чтобы бросать под танки. Вот так история... Я сижу дома со своим костылём, Геня в это время тушит зажигалки, а Леночка останавливает фашистские танки, бросая в них бутылки с горючей жидкостью. То есть она не бросает, а собирает. Ну, одним словом, помогает...

Но это ещё что!

Гораздо интересней — с моей мамой.

Знаете, кто она?

Она командир взвода подрывников.

Помните, она всё училась, писала в тетрадках, ходила на занятия, пенал у неё даже свой был, и я ей бомбы раскрашивал.

Так вот она научилась, оказывается.

Пока я лечился от скарлатины и от ранения, она ещё одни курсы прошла — моя мама.

И хотя она просто в берете ходит и в ватнике, она настоящий командир взвода.

Ну просто невозможно пересказать, какая у нас была история.

Я даже не знаю, с чего начать.

Ну вот с чего. С налёта. Опять они прилетели и опять стали кидать. А я это очень не люблю. Я сразу начинаю дрожать, и не потому, что я трус, а потому, что мне уж очень больно было, когда меня ранили. Возьмут да второй раз ранят. Ну его!



И потом, уж очень мне неудобно с костылём по тёмной лестнице ходить взад и вперёд. Вообще в это время очень темно было, потому что осень и от синих лампочек толку мало.

Завыла сирена воздушную тревогу. Прилетели фашисты. А я никуда и не пошёл, ни в какое бомбоубежище. Лёг на кровать, подушкой ухо закрыл и лежу. И думать про это не хочу. Один я дома — мама в своём взводе, папа в своей пожарной команде, Иван Фёдорович Блинчик стоит на посту.

Вдруг ка-ак ударит!

Даже дом наш весь подскочил и зашатался. А взрыва никакого нет.

Что, думаю, такое?

Полежал я ещё, полежал, вдруг слышу: по всем этажам зашумело, по лестнице люди побежали, двери хлопают. А по радио играют отбой воздушной тревоги.

Стал я свою холодную картошку кушать, вечернюю порцию — три картошки. Покушал — бац! — дверь отворилась, и на пороге с синим фонарём стоит мой знакомый милиционер — Иван Фёдорович.

— Попрошу, — говорит, — без задержки освободить помещение. Две минуты вам на сборы, и отправляйтесь к вашему товарищу Гене Лошадкину.

— Почему? — спрашиваю.

— Потому что в соседний дом попала бомба замедленного действия и каждую минуту может взорваться. Ясная картина?

— Так ведь в соседний, — говорю я, — а не в наш. Это они могут взорваться, а не мы. Пусть они и освобождают помещение в две минуты.

Тут Иван Фёдорович даже ногой топнул:

— Приказываю выполнять моё приказание. Надевайте вашу куртку. Берите ваш костыль. Опирайтесь на меня. Живо! И хлебные карточки ваши возьмите, потому что без карточек вы тоже можете погибнуть.

Вышли мы и видим картину: возле соседнего дома всё огорожено проволокой и военные стоят. А один большой кистью пишет на доске:

Бомба замедленного действия. Тихий ход!

Я тоже пошёл потише. А Иван Фёдорович говорит:

— Это к вам не относится. Это к машинам относится. Идите быстрым ходом, а мне ещё других жильцов надо выводить —



старушек, старичков и детей, у которых отсутствуют военные знания. Привет семье Лошадкиных...

Оставил он меня и вернулся обратно.

А я тут же встретил Геню Лошадкина.

— Слышал? — спрашивает.

— Слышал, — отвечаю.

— Она вот-вот разорвётся, — говорит Геня Лошадкин. — Интересно будет посмотреть. Говорят, в ней внутри часы тикают. Они на секретное время поставлены. Как до этого секретного времени дойдут — так всё и взорвётся. Это — ахнет, это уж будьте покойны...

— А где она лежит?

— Там, далеко во дворе, в подвале.

Вот пока мы так разговариваем, вдруг подъезжает грузовая полупортка. Совсем возле нас остановилась. К машине сразу подбежал какой-то командир и докладывает, какая это замедленная бомба, и где она лежит, и когда она упала. А из машины выходит моя мама. Можете себе представить? Это ей командир докладывал! Точно она генерал — мама.

Я как крикну:

— Мама!

Она как обернётся:

— Мишка? Ты почему тут? Уходи отсюда!

И — ко мне. А командир ей что-то тихонько шепчет. Она меня обняла, целует, губы у неё холодные, и сама как-то вся вздрагивает. Поцеловала, потом командиру говорит:

— Пожалуйста, товарищ командир, присмотрите за моим сыном, пока я работать буду. А то он за мной пойдёт, я его знаю.

Капитан — цап меня за плечи и держит. И Геню заодно — Лошадкина. А маме в это время инструменты подают в мешке — железные какие-то. И капитан ей говорит:

— Ни пуха вам ни пера, товарищ. — И всем своим командовал: — Смирно!

А сам руку под козырёк, и все военные, которые тут были, тоже руку под козырёк. И так мама между ними прошла — тоненькая, в берете, моя мама Наташа. Что, думаю, такое? А сам чего-то боюсь.

Вот стою я, вздрагиваю, а капитан мне на плечо руку положил и молчит. Постояли мы так, потом я спрашиваю:

— Товарищ капитан, куда это моя мама одна пошла? Ведь из этого дома все выселены и там лежит бомба.

А капитан отвечает:

— Твоя мама, паренёк, героиня, понял? Её военная специальность — разряжать такие бомбы. Вот она сейчас к этой бомбе подходит.

Я даже глаза закрыл — так мне страшно стало. Одна идёт в подвал к бомбе, а в бомбе внутри часы тикают: «Тик-так, тик-так». И когда секретное время выйдет, бомба взорвётся.

— Что же она с бомбой может сделать? — спрашиваю.

— У твоей мамы есть специальные инструменты, — говорит капитан. — Подойдёт твоя мама к бомбе, послушает часы. Потом приставит к тому месту, где часы тикают, сверло, и станет это сверло сверлить бомбу. Дойдёт сверло до часов, сломает их, и испорчена будет вся фашистская механика.

— И пока сверло сверлит, ничего не может плохого случиться?

Капитан помолчал, потом ответил:

— Может.

— А когда часы эти проклятые сломаются, тогда уже всё хорошо?

— Не совсем. Тогда ещё нужно отвинтить донную часть бомбы.

— И это тоже моя мама будет делать?

— Да. Тоже.

И капитан почему-то крепко прижал меня к себе.

Очень тихо было вокруг. Никто ничего больше не говорил. И командиры, и красноармейцы, и капитан, и я, и Генька Лошадикин — все стояли молча и смотрели на большие ворота, из которых должна была выйти моя мама.

— Товарищ капитан, — попросил я, — можно мне сбегать посмотреть? Ну пожалуйста...

— Нет, — ответил он и сильнее сжал моё плечо.

В это время в воротах кто-то показался. Но это была не моя мама. Это был Иван Фёдорович Блинчик. Он шёл медленно и спокойно и в руке нёс клетку с канарейкой.

— Это что такое? — строго спросил капитан. — Работник мили-

ции, а ходит по дому, в подвале которого разряжают бомбу замедленного действия. Куда это годится?

— Разрешите доложить? — спросил мой знакомый милиционер и встал перед капитаном «смирно».

Капитан кивнул, все ещё глядя на ворота. А Блинчик сказал:

— Я должен был осмотреть все квартиры — нет ли живой души, товарищ капитан. А это дело длинное; квартир много, надо к каждой кровати подойти — может быть, кто-то спит из жильцов. Но всё обошлось благополучно, живая душа вот только в виде канарейки обнаружена.

— Хорошо, — сказал капитан, — можете быть свободны.

Но мой знакомый милиционер не ушёл. Он нагнулся ко мне и шепнул:

— Всё будет в порядке, Мишка. Золотые руки у твоей мамы. Ни у кого на свете таких рук нет, как у неё.

В это время из ворот вышла моя мама.

Она шла медленно, едва-едва, и у неё был такой вид, будто она очень устала. Никогда я её такой не видел.

Все бросились к ней навстречу — и капитан, и я, и Лошадкин, и все командиры и бойцы, и даже Иван Фёдорович Блинчик со своей канарейкой, и другие девушки из маминого взвода, и шофёр из полуторки. А мама приложила руку к берету, как настоящий военный человек, и сказала своим обыкновенным, маминым голосом:

— Фугасная авиабомба замедленного действия со взрывателем номер семнадцать обезврежена. Можно выпаривать взрывчатку. Прошу разрешения отвести сына домой — я живу рядом.

Капитан молча обнял маму и поцеловал три раза. А все бойцы и командиры и другие частные люди взяли под козырёк, хотя никакой команды не было. Даже Геня Лошадкин взял под козырёк. А я не взял, потому что в одной руке у меня был костыль, а за другую руку меня держала мама, и мне нечем было взять под козырёк.

МЫ С МАМОЙ ЧАЙ ПЬЁМ

Вот пришли мы домой, мама и говорит:

— Ох, я чаю хочу, с ума сойти, как хочу!

Согрела чай, и сели мы пить. Я на маму смотрю — и никакая она



не героиня: мама как мама. Налила чай в блюдечко и пьёт. И даже ворчит:

— Не подметено, мусор на полу, кровать вся перевёрнута. Наверное, ты, Мишка, без меня на кровати в сапогах лежишь... Зубы чистил сегодня?

Я на неё смотрю и не понимаю. «Неужели, — думаю, — это та самая моя мама, которая только что одна такую бомбу обезвредила? И секретные фашистские часы испортила? И знает, какой номер у взрывателя?»

А она всё про зубы спрашивает:

— Отвечай: чистил или не чистил? Что моргаешь, ты отвечай.

— Ну не чистил, — отвечаю. — Ну забыл. Ещё начищусь, успею.

Попили мы чаю, сели разговаривать на диван. Я попросил, чтобы она рассказала, как это всё бывает.

— Да так и бывает, — говорит. — Очень просто. Сегодня только слишком страшно было... Поди принеси ножницы, я тебе ногти постригу, совсем ты у меня, бедный, стал беспризорником. И гребёнку захвати — причешу. И чтобы зубы вычистил — не могу я смотреть на такого мальчика...

Вот попробуйте поговорите с ней, когда не может она минуту посидеть спокойно. Наконец начала рассказывать.

— Идёшь, — говорит, — к бомбе, а она большая, чёрная. Сядешь на неё — выслушивать, а она — хо-олодная. Жутко даже бывает...

— Так ты бы с кем-нибудь ходила, — говорю, — вдвоём.

Мама улыбнулась, положила гребёнку и отвечает:

— Зачем же вдвоём? И так на войне достаточно людей гибнет.

— А почему ты себе такую работу, — спрашиваю, — выбрала опасную?

Она опять улыбается.

— Работа как работа, — говорит, — военная работа. Думаешь, танкисту лучше, чем мне? Тоже у него опасная работа. Или лётчик! Или моряк! Подводник, например. Нет, Мишук, когда наша Советская Родина в опасности, стыдно искать работу полегче... Так рассказывать тебе дальше про бомбу?

— Рассказывай, — говорю.

— Про сегодня я тебе расскажу, как мне страшно стало. Вот поставила я сверло, отошла во двор — жду. Сверло само работает, это самый опасный момент, когда оно сверлит. Прождала в укрытии двадцать минут — возвращаюсь. Не работают больше часы —



остановились, всё. Принялась донную часть отвинчивать. И это сделала...

Тут мама перестаёт рассказывать и смотрит на меня круглыми глазами. И я вижу по глазам, что ей страшно.

— Наступает, — говорит она, — жуткое молчание...

Берёт меня за руку и сжимает.

У меня от страха даже мурашки по спине побежали.



— Она начала взрываться? — спрашиваю.

— Нет, — отвечает.

— Там фашистский парашютист сидел?

— Да нет же, какие ты глупости болтаешь! Никакой не парашютист, а просто... я поворачиваюсь...

— Привидение?

— Привидений не бывает. Я поворачиваюсь...

— Ну?

— Не нукай. Поворачиваюсь и вижу: прямо против меня сидит крыса. Вот такая! И смотрит. Я как закричу! Как побегу!..

— И всё?

— Всё, — говорит. — Мало тебе страху? Я — одна, и передо мною крыса. Вот такой величины и на меня смотрит.

Ну скажите, пожалуйста, разве не удивительная у меня мама?

Хоть она и мама, но всё-таки девочка. И хоть она героиня, но всё-таки не совсем военная. И генералом, уж наверное, никогда она не будет.



МЫ ПРАЗДНУЕМ ПРАЗДНИК

Накануне праздника — шестого ноября — мама пришла домой постирать и прибрать. И папа пришёл на нас посмотреть. Худой он сделался, чёрный совсем, на себя не похожий. Ноги длинные, руки длинные, лицо длинное, и отовсюду торчат кости. Даже из лица кости торчат.

— Здравствуй, — говорит, — моя дорогая семья. Просто забыл, как вы выглядите. Это, кажется, моя жена Наташа? А это, если не ошибаюсь, мой сын Миша?

Положил наш папа на стол песку кулёчек маленький и четыре печенья—гостинец к празднику, лёг на диван и улыбается.

— Хорошо,—говорит,—в гостях, а дома лучше. На диване лежишь, родной сын на тебя смотрит, жена песенку поёт...

А мама ему в ответ:

— Я ничего не пою.

— Почему?—папа спрашивает.

— Настроение невесёлое.

— Зря,—говорит,—невесёлое. Гитлер только этого и хочет, чтобы настроение наше было невесёлое. Но не выйдет его номер. Давай, Мишка, петь. Помнишь, мы всегда под праздник пели; мама пироги пекла, а мы пели...

И запел.

Я ему помогать стал.

Попели мы немножко.

Потом папа и говорит шёпотом:

— Хватит. Если долго петь, так очень кушать захочется. А кушать нам, дорогой, нечего.

Поцеловал маму, поцеловал меня, попил воды и собрался в свою пожарную команду.

Мама ему на прощание говорит:

— Ты там поосторожнее со своим огнём.

А он ей в ответ:

— А ты со своими бомбами поосторожнее.

И улыбаются друг другу. Но не очень весёлые у них улыбки.

Вот прибрала мама, бельё развесила сушиться и мне велела переодеться во всё праздничное. Переодевался я, переодевался, но только ничего из этого не вышло.

Вырос.

— Вот так номер,—мама говорит.

— Ты уж извини,—говорю,—я не виноват.

Пришлось опять будничные одёжки надевать.

Потом разложила мама на столе праздничные угощения для меня: консервы на блюдечке, печенье в четыре штуки и сахарный песок в вазочке. Всё на скатерти, очень красиво, но только мало. И радио включила, чтобы я слушал.

Вздыхнула и говорит:

— Ну, счастливо тебе, мальчик, праздник встретить.

— И тебе,—отвечаю,—счастливо!

Ушла она. Я один остался. Послюнил палец—и в вазочку.



Облизал. Ещё раз — поплюнил, облизал. Ну и вкусно! Ещё поплюнил.

Вдруг голос как гаркнет:

— Вы что, молодой человек, делаете?

Я и не заметил, как дверь отворилась и вошёл Иван Фёдорович Блинчик — тоже похудевший и бледный. Поздоровались мы, сел он и рассказал, что контуженный. Снаряд разорвался давеча на улице, по которой он шёл. Его и контузило. Не разогнуться ему теперь, как старичок ходит.

— Я, — говорит, — со своим угощением.

И кладёт на стол хлеба кусочек, две конфеты и ещё что-то в баночке.

Я понюхал — столярным клеем пахнет.

— Что, — спрашиваю, — такое? Клей?

— Студень, — говорит, — а не клей. Хорошее кушанье. Горчицу давайте на стол, и будем с вами пановать.

Принялись мы закусывать.

По городу, конечно, стреляют, а мы себе кушаем.

Кушаем и рассуждаем — когда будет наша победа и разное другое.

И вспоминаем, как до войны эскимо продавалось и разные булки и даже пирожные.

— А биточки в сметанном соусе, помните, как кушали? — он меня спрашивает.

Я ему в ответ:

— А компот?

Он мне:

— А борщ флотский с уксусом и перцем?

Я ему:

— А сосиски?

Он мне:

— Что там сосиски! Вот вы мне про селёдку скажите! Как её, родненькую, вымочить, да лучку к ней подрезать, да постным маслом...

Не договорил и хлопнул кулаком по столу:

— Всё! Воспрепятствуют разговорчики. Хватит. Возьмём себя в руки, дорогой товарищ, и прекратим.

— Прекратим! — отвечаю.

И — прекратили.

А снаряды рвутся всё ближе и ближе. И радио сообщает, что наш район обстреливают.



ШКОЛА В ПОДВАЛЕ

Бросил я с костылём ходить — ну его! Завёл себе палочку и с ней в школу отправился. Ну и школа... Холодно, сыро, темно, копилки мигают, руки мёрзнут. И всё время кушать хочется. Решаешь пример, а сам думаешь — вот бы хлебца покушать. Пишешь контрольную, а сам думаешь — вот бы молока попить.

И вода остановилась — из кранов не идёт, и хлеба совсем мало давать стали, и мама не приходит...

Но только учительница нам говорила:

— Бойцам на передовой ещё хуже, чем нам, а они не сдаются. Значит, и мы сдаваться не имеем права.

И один наш ученик такой стих написал:

Над Ленинградом нависла блокада.
Мороз крепчает. На улице ни души.
В это время в школах Ленинграда
Сидят ученики, стиснув карандаши.
Лица опухшие, руки иззябшие —
Плохо слушать урок.
Уши отмёрзли. Но не сдают ребята,
А с ними и их педагог.

Вот как мы учились.

Не так уж просто. Хотя, правда, нам суп в школе давали.

НОВЫЕ ЖИЛЬЦЫ

Вот папа приходит раз домой — чистое бельё переодеть — и не узнаёт нашу комнату. Очень уж много стало в ней народу жить: и Геня Лошадкин, и Лена, и мама, ну и я — по-прежнему...

— Это как же мне понять? — папа спрашивает.

А я отвечаю, что понять довольно просто: к ним, к Лошадкиным, в комнату снаряд залетел и разорвался. Хорошо ещё, что никого дома не было и никого не убило. Но и комнаты теперь у них нет. Наш знакомый милиционер Иван Фёдорович Блинчик и привёл их к нам. Разве я мог не пустить?

— Конечно, должен был пустить, — папа отвечает.

И грустно так смотрит на свой диван, на котором теперь Леночка Лошадкина спит.

— Полежать хочешь? — спрашиваю.

— Да нет, — говорит, — чего уж. Газеты нет, яблок нет, какое тут лежание...

Выкурил папиросу и пошёл в свою пожарную команду.

Потом мама забежала, тоже удивилась.

Потом Иван Фёдорович зашёл — проверить, всё ли в порядке. Он всё ещё разогнуться не может — от контузии. И совсем худой стал — как гвоздик. Никакого лица нет — одни усы торчат. Проверил, всё ли в порядке, и салазки мои одолжил.

— Зачем, — спрашиваю, — вам, Иван Фёдорович, салазки?

А он отвечает, что пришёл к нему на пост — проверить его — командир. И упал — дальше идти не может. Слабый очень; роста большого, работает много, а есть нечего. Вот и упал. Милицейский командир. Начальник Ивана Фёдоровича. Хороший человек и на счёт регулирования самый главный специалист.

Уехал Иван Фёдорович, а мы втроём при коптилке остались.

Леночка спит, а мы с Генькой друг на друга смотрим. Обстреливают нас из пушек, метель метёт, кушать хочется, скучно.

— Давай чего-нибудь делать, — я говорю.

Геня отвечает:

— Давай. Карты есть? Я тебе фокусы буду показывать.

Вот так Генька! Это просто удивительно, какие он фокусы знает. У меня даже в глазах всё зарябило — ничего не могу понять, как это он делает. Стал я его хвалить. А он мне говорит:

— Был бы цирк, я бы в цирке фокусы показывал.

Потом задумался, долго думал и говорит:

— Послушай, Мишка, а что, если мы... если мы...

— Чего?

— Не чевокай, а то забуду. Значит, будет так: мы втроём...

— Да чего втроём?

— Сказано — не чевокай! Мы втроём...

— С кем втроём?

— Да с Леночкой, вот какой непонятливый! Ты, я и Лена, мы пойдём... Но только сначала мы всё разучим...

— Да куда пойдём?

— «Куда-куда»! В мамин госпиталь. Представлять там будем, понял? Для раненых. Думаешь, им не скучно так просто лежать? Лежи и думай всё об своих ранах...

Ну и голова у нашего Гени! Ну и молодец!

ВОТ МЫ И АРТИСТЫ

Конечно, им хорошо. Генька фокусы может показывать, Лена стих будет говорить. А я что? Предлагаю им — могу ушами двигать. Генька говорит — при коптилках никакие уши не видны. Ну, могу зубами скрипеть. Генька говорит — это для раненых неинтересно. Даже поссорились мы, но потом помирились. Я просто буду выходить и говорить:

«Это Геня Лошадкин. Он исполнит фокус. Это Лена Лошадкина. Она исполнит стих». А потом скажу: «Конец».

Буду начальником над обоими Лошадкими, и всё тут.

Так мы и решили. И пошли тихонько вечером.

Холодно на улице, пусто. И опять обстреливают, только не наш район. Так и слышно, как снаряды пролетают. И как рвутся. Вот пришли в нашу бывшую школу. Вызываем маму Лошадиных. Так и так, говорим, мы пришли с фокусами и стихами. Она на нас смотрела, смотрела из своей косынки, потом как захохочет! И пошла по коридору. А мы стоим — ждём. Вернулась и говорит:

— Идите.

Дали нам вместо халатов рубашки нижние и подпоясали нас бинтами. Вот пошли мы в одну палату. Я помолчал, потом говорю:

— Здравствуйте, товарищи раненые. Мы вам будем показывать фокусы и говорить стихи. Первым номером товарищ Геннадий Лошадкин — фокусы. Пожалуйста, товарищ Лошадкин.

Вот так штука — Генька карты-то и забыл дома. Я ему шепчу: «Беги скорее!» Ну, он и побежал. Тогда я опять к раненым:

— Товарищи раненые, первым номером будет Лена Лошадкина. Вернее, Елена Лошадкина. Она скажет стих.

Вот Лена вышла вперёд, поклонилась и начала говорить стих. А я сбоку стою и коптилку держу, потому что иначе не будет видно, как она говорит. Ну все, конечно, слушают, никто не шевелится.

Досказала Лена свой стих, а Геньки нет. С ума сойти надо!

Все кричат:

— Бис, браво, бис!

Ещё раз Лена сказала. Всё равно Геньки нету.

Я говорю:

— Товарищи раненые! Товарищ Геннадий Лошадкин...



А они кричат:

— Успеем! Пусть Елена нам потанцует! Пусть песню споёт!

Ну, Ленка станцевала «Мы белые снежиночки, летаем как пушиночки». В этом роде что-то. А я с коптилкой за ней ходил. Глупо даже очень. Она в одну сторону прыгает — я за ней иду; потом в другую — опять за ней.

А раненые кричат:

— Свету! Не видно! Браво, бис, Елена!

А Геньки всё нету.

Тогда раненые кричат — почему я ничего не делаю. Я отвечаю, что я не умею. Тут Ленка Лошадикина возьми да и скажи:

— Он умеет ушами двигать.

Но я отказался. И как раз в это время Генька подрос, только без карт. Ключ от комнаты у меня был в кармане — он карты и не мог достать. Так что первый наш концерт был так себе, а дальше пошло лучше. Лена ещё один танец выучила, а Генька карты больше не забывал.

Только кушать нам всегда потом сильно хотелось, и Ленка очень уставала. А однажды отказалась идти.

— Я, — говорит, — лучше полежу. Когда лежишь, не так кушать хочется.

И не пошли. Укрылись всем, что тёплого было — и шубами, и пиджаками, и одеялами, и платьями, — лежим и дремлем. А Генька, тот даже матрац на себя положил. Холодно же!

Пришли моя мама и Лошадикиных мама, принесли нам супу покушать и сидят думают.

Потом моя мама говорит:

— Что же нам с вами, ребята, делать? Ведь вы так и помереть можете.

Опять стали думать и надумали: мама моя взяла Лену Лошадикину к себе, к своим военным девушкам. Геня пошёл с мамой Лошадикиной в госпиталь. А я отправился к папе в пожарную команду.

И комнату нашу мы на ключ заперли.

Вот идём по улице, а на нашем перекрёстке Иван Фёдорович сидит. Не стоит, а сидит. На подножке трамвайной — там трамвай весь в снегу был. Я испугался, говорю:

— Мама, может быть, товарищ Блинчик на посту замёрз?

А Иван Фёдорович тихим голосом отвечает:

— Товарищ Блинчик ещё не замёрз. Товарищ Блинчик находится на своём посту. Привет вам, ребята!



МОЙ ПАПА И ЕГО ТОВАРИЩИ

Шёл я в пожарную команду и думал: вот где тепло, вот где сытно, вот где шумно и весело.

А пришёл — и глазам своим не поверил: холодно, тихо, все бойцы-пожарники лежат на своих койках и молчат.

«Что, — думаю, — такое? Может быть, у них мёртвый час?»

И говорю:

— Здравствуй, папа. Может быть, это у вас мёртвый час?

Он отвечает:

— Здравствуй, Мишка. Нет, это у нас ничего особенного. Просто полёживаем. Силы бережём. Ложись и ты, полежи — рядом койка свободная.

Лёг я и лежу.

И думаю: почему это койка свободная?

А папа объясняет:

— Тут один мой товарищ раньше отдыхал. Мы вчера пожар тушили, а фашисты стали по пожару стрелять из пушек. Мой товарищ как раз из огня одну девочку выносил. Снаряд разорвался, и его вместе с девочкой убило насмерть. Он умер на посту, как герой.

Полежали мы с папой немножко и пошли в пожарную столовую обедать. Сели за стол и кушаем на двоих папину порцию. А другие пожарные на нас смотрят. Потом вдруг гляжу: перед нами ещё одна тарелка с супом стоит. Это они все сложились для меня. Я, конечно, отказался. А старый пожарный Лука Назарыч сказал:

— Не дури, парень. Где сотня кормится, там и сто первый покусает. Понятно? И должны мы друг друга выручать. Наша вся работа пожарная на товарищеской выручке держится. Ясно?

— Ясно, — отвечаю.

— То-то! — говорит. — Давеча, например, пошёл я в огонь — работал, ну огонь-то с дымом возьми меня и положи. Внизу легче, чем наверху, по этой причине пожарный норовит лечь, когда плохо ему, — отдышаться. Только я прилёг — на меня железина какая-то навалилась с потолка. И не подняться мне больше. «Прощайся, думаю, Лука Назарыч, с жизнью, не дожить тебе до той минуты, когда наши доблестные войска войдут в Берлин и кончат проклятый фашизм». Но не тут-то было. Слышу — бьёт вода, клокочет из брандспойта, и вижу — идёт ко мне твой папаша и заливает огонь водой. Сбросил с меня железину и выволок на свежий воздух.

«Дыши, говорит, Лука Назарыч, на доброе здоровье, много тебе ещё пожаров надо тушить, не вышло ещё твоё время на полный пожарный отдых...»

Вот так папа у меня!

Он, например, оказывается, самым первым в зоосад прибежал, когда фашисты Народный дом подожгли. Он, оказывается, к живому тигру в клетку ворвался и сеть на него набросил, чтобы спасти тигра от пожара. Он, оказывается, даже бегемота не испугался и первый к нему подошёл во время пожара. И слониху он хотел спасти, но только не успел, потому что её бомбой убило и она умерла. И папин начальник мне сказал:

«Твой папа, Мишка, не только среди людей, но даже среди зверей известный пожарник».

Рассказывали мне, рассказывали про папу моего — вдруг звонки зазвонили, все вскочили — и на машины. Пожар!

ПАРАШЮТИСТА ПОЙМАЛИ

Вот опять весна наступила, и опять будет Первое мая. И весной стало видно, какие мы чёрные, просто от этих коптилок насквозь прокоптились. И печки-временки нас тоже хорошенько прокоптили. Конечно, грязные мы, потому что и вода у нас не шла, за водой мы с чайником на канал ходили. Из проруби попробуйте-ка натаскайте воды!..

Ну, а весной лучше стало.

Лучше, да не очень.

Фашисты по-прежнему в нас стреляли из пушек, и стервятники опять бомбить начали.

Вот попал я однажды вечером под бомбёжку.

Стою под воротами, вдруг одна старушка с бидончиком кричит: — Матушки-батюшки, он его кузовом пырнул!

А мы ничего не понимаем. Кто кого кузовом пырнул? Оказывается, наш лётчик-истребитель фашистский самолёт таранил. Фашист уж совсем бомбы хотел сбросить, а наш сокол его ударил — тот и рассыпался на части, а бомбы в Неву уронил.

Но только мы ничего вначале не знали.

Как вдруг старушка эта опять кричит:

— Отцы-благодетели, на нас парашютист падает! Бей его!..

И как припустит по улице со своим бидончиком. Никогда я не думал, что старушки могут так сильно бегать.

Ну, а за старушкой мы все, кто под воротами стоял. Какой-то пожилой с портфелем, ещё один дядечка с сеткой—рыбу ловить, потом ещё тётка с керосиновой бутылкой и девчонок штук три.

Вот бежим, вот бежим... Хотя и не быстро. Быстро не получается.

А фашист как раз только опустился. И с наглостью стоит и верёвки парашютные к себе подтягивает. И на нас никакого внимания. Дядька, который с сеткой, как увидел это, так и зашипел:

— Окружать его надо, с тылу, братцы, заходите...

А тот, что с портфелем, отвечает:

— Мы его живого обязаны в плен сдать...

Только одна старушка ни с чем не считается.

— Я, — кричит, — его бидоном стегать буду! Мне и соевое молоко не жалко. Будет помнить Ангелину Марковну!

Лётчик же между тем всё свои канаты подтягивает.

Тут мы его и схватили.

Я сзади вывернулся; тот, что с портфелем, сверху прыгнул — рыбкой; с сеткой который, тот даже «вперёд!» закричал, а девчонки не посмели — испугались. Вот держим мы лётчика и за верёвки парашютные, и за руки, и за плечи, а он на нас смотрит и говорит по-русски:

— Вы что, братцы, с ума сошли? Соображаете или нет?

Хитрый немец. Нарочно русский язык выучил, чтобы и в плену было поудобнее. Но мы тоже хитрые.

С портфелем кричит:

— Хэндэ хох! — Это по-ихнему «руки вверх».

А лётчик нагло отвечает:

— Спасибо вам за встречу. Разувáжили, нечего сказать.

А старушка Ангелина Марковна, со своим бидоном, прямо с ума сходит. И другая, с керосиновой бутылкой, тоже. Хочется им этого лётчика на части разорвать. Кричат в два голоса:

— Не верьте его коварству! Никакой он не наш! Давайте мы его верёвками свяжем. Давайте скорее его вязать, а то он убежит...

Вздохнул лётчик и говорит:

— Худо мне, ох, худо...

Тут меня и ударило. Я даже закричал нечеловеческим голосом:



— Алексей Павлович! Скарлатина! Военный лётчик! Кружка с собачкой! Тарелка с цыплёнком!

А он отвечает:

— Ну и вырос же ты, Мишка. Ни за что бы тебя не узнал. Тут все от Алексея Павловича отступили.

А он рассказал:

— Я фашиста таранил, но и сам пострадал. Загорелась моя машина, пришлось мне выпрыгивать. А что вы меня так встретили—молодцы! Сам теперь я убедился, что несдобровать немцу на наших славных улицах.

А в это время целая толпа собралась. И все стали кричать:

— Да здравствует наша авиация! Ура!

А потом мы пошли к нам в гости.

Парашют же остался на улице. И его вызвалась охранять старушка с бидоном—Ангелина Марковна. И другая старушка—с керосином—тоже осталась возле парашюта.

Дома были папа и мама и все Лошадкины. Папа Лошадкин как раз приехал в отпуск. И когда Алексей Павлович вошёл, папа Лошадкин встал «смирно» и сказал:

— Старший сержант Лошадкин находится в кругу своей семьи по причине отпуска. Разрешите присутствовать?

— Разрешаю!—сказал Алексей Павлович, и мы все сели и стали вспоминать, как болели скарлатиной и лежали в детской больнице.

ИДУТ ПОБЕДИТЕЛИ

Мы победили и прорвали кольцо фашистской блокады, и я сам слышал, как по радио нас всех поздравляли.

Мы слушали все: и папа слушал, и мама, и оба Лошадкиных, и Геня, и Лена, и наш Иван Фёдорович Блинчик.

И мама всё почему-то плакала, а папа ходил по комнате и улыбался. И оба они говорили:

— Как хорошо! Как прекрасно!

А мы побежали встречать победителей. Они ехали как раз по нашей улице. Только далеко-далеко мы пошли, за город.

Вот смотрим—едут.

И весь народ плачет от радости, что едут родные победители.



Вдруг смотрю — едет генерал, весь в орденах, прямо так и сверкает. И конь под ним вороной. А сзади — кавалерия.

Я как закричу генералу:

— Товарищ полковник Свиридов!

Он улыбнулся и ответил:

— Здравствуй, Мишка! Садись ко мне на коня! Как ты вырос!

— Я, — говорю, — не могу сесть к вам на коня. Это не товарищески будет. Со мной Генька Лошадкин и Ленка Лошадкина, они из нашей комнаты. Что ж, я поеду, а они пешком пойдут?



А. С м о л я н. О повести «Вот как это было» и её авторе — Юрии Германе 5

МОЙ ПАПА И Я 8

КАКАЯ У МЕНЯ МАМА 8

НАШИ УЛИЦЫ 10

СВОЙ МИЛИЦИОНЕР 10

ТРЕВОГА 12

ШКОЛА МИЛИЦИОНЕРА 14

Я — ЛУЧШИЙ ПЕШЕХОД 16

ЛОШАДКИН 16

ЗИМА 18

АВАРИЙНАЯ МАШИНА 19

ДЕВОЧКА ЛЕНОЧКА 20

НУ И СЕМЕЙКА! 22

ПОЖАР 24

ПАПИНА КАСКА 26

ПЕРВОЕ МАЯ 26

МАМА ИСПУГАЛАСЬ 30

Я ЗАБОЛЕЛ! 31

НОВЫЙ ЗНАКОМЫЙ 34

УШИ БОЛЯТ 36

ВОЙНА НАЧАЛАСЬ 38

У НАС В БОЛЬНИЦЕ 40

Я ОПЯТЬ ДОМА 46

НИКУДА МЫ НЕ ПОЕДЕМ! 48

ВОЕННЫЙ ПЕРЕКРЁСТОК 49

ВОТ ТАК МАМА... 50

ТЫ СЫН ГЕРОИНИ 55

МЫ С МАМОЙ ЧАЙ ПЬЁМ 56

МЫ ПРАЗДНУЕМ ПРАЗДНИК 61

ШКОЛА В ПОДВАЛЕ 66

НОВЫЕ ЖИЛЬЦЫ 66

ВОТ МЫ И АРТИСТЫ 68

МОЙ ПАПА И ЕГО ТОВАРИЩИ 72

ПАРАШЮТИСТА ПОЙМАЛИ 73

ИДУТ ПОБЕДИТЕЛИ 76

ДЛЯ  ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Юрий Павлович Герман

ВОТ КАК ЭТО БЫЛО

ИБ № 290

Ответственный редактор **Н. А. Терехова.**

Художественный редактор **А. В. Пация.**

Технические редакторы **С. Г. Маркович** и **Е. В. Пальмова.**

Корректоры **А. Н. Гриberman** и **Э. Н. Сизова.**

Сдано в набор 21/IV 1976 г. Подписано к печати 3/X 1978 г.

Формат 60×90/8. Бум. офс. № 1.

Шрифт журн.-рублennyй. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 10. Уч.-изд. л. 6,6. Тираж

100 000 экз. Заказ № 28. Цена 1 р.

Ордена Трудового Красного Знамени изда-
тельство «Детская литература». Москва, Центр,
М. Черкасский пер., 1.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинат детской литературы
им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома
Госкомиздата РСФСР.

Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

